



Александр Моралевич

МАЗЕТРО, ТОЧИТЕ ЛОПАТУ!



Родился тридцать три года назад.
По телефону застать невозможно.
Образ жизни — нумандировки.
В «Библиотеке Крокодила» три года назад выпустил книжку
«Когда пустота в голове».

Александр Моралевич

МАЭСТРО, ТОЧИТЕ ЛОПАТУ!

Фельетоны

Рисунки Г. ОГОРОДНИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА 1969



ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ

Социология начинает оперяться. Виден большой прок в этой резонной науке. Придет время, и социология выявит, что больше всего выговоров трудящиеся получают в периоды май—октябрь. И понятно, ибо предотпускной человек держится на нервном пределе и совершает больше просчетов. Окружающие кажутся ему мелкими прощелыгами, а прямой начальник еще и...

И человек шепчет себе: только дотерпи, не сорвись!

В таком состоянии мы идем в отпуск.

Неизвестно, где реализуют свое право на отдых граждане Янты, Мацесты и Гагры. Это вопрос неясный, вроде как с зимовкой ворон. Во всяком случае, на Чукотском Носу и на острове Врангеля в полыньях не видели ныряющих ялтинцев.

Но известно, что летом север Союза стремится на юг.

Северный человек всегда готов к отпуску более, чем любой человек с юга. У человека с севера больше прав на усталость. Оторванность. Визги метелей. Морозы. Полярная ночь и консервы, консервы.

Даже от вида своего голого тела начисто отвывает северный человек.

И вот он собирается в отпуск, капитан уэленского сейнера Образцов или страховой агент Сопронюта. К улетающим бегут знакомые, заказывают купить на материке ширпотреб. Хозяин с хозяйкой составляют толстый талмудик.

Проследим типичный путь этих людей ОТ и ДО.

Сперва в Уэлене на почте берутся билеты. Затем начальник почты и все пассажиры вымогают в уэленских инстанциях вездеход — доползти по стиснутой морем косе до взлетного пятачка. Путем часовых унижений выявляется самый добрый хозяйственник.

Затем люди бродят с задранными головами и, выпростав ухо, спотыкаясь о поселковых собак, слушают небо.

Когда они подъезжают к пятачку, пустой самолет взлетает над ними и, блеснув золотинкой в старательском лотке, пропадает неизвестно куда. Вездеход, треща гусеницами по китовым ребрам, снова везет людей в Уэлен. Почему улетел самолет? Просто так. Когда еще прилетит? Неизвестно. На Чукотке нет климата, есть только погода.

Товарищи этнографы, запишите точный факт: северяне никогда не присаживаются на дорогу — плохая примета. Можно так присесть на неделю. Можно на месяц.

Но все же в некие сроки, необходимые, скажем, Центральной России для проведения посевной, северянин добирается до узловых Хабаровска, Анадыря, Магадана.

К этому времени мужчины превращаются в нервных людей с запятыми чертами лица, а женщины — в комбинацию быстрых смехов и плачей.

И тут под сводами включается радио. Радио бодро говорит, что рейсы на Москву числа пятнадцатого переносятся на число девятнадцатое: в Магадане тоже почти что нет климата.

После этого сообщения пассажиры сдвигают кресла в залах и ведут изнурительную жизнь наполеоновского солдата. Попытки ставить шалаши и вигвамы из щитовых реклам Аэрофлота милиция пресекает.

Но есть, конечно, среди тысяч людей люди, отмеченные счастьем (рыжие, с курчавой грудью, с тремя сосками, шестипалые или просто прибывшие раньше всех — двенадцатого числа). Эти живут в гостинице, если вообще есть гостиница.

Хотя строги, строги нынче порядки в гостиницах. Прошли те наивные времена, когда Руссо платил за постой кусками серебряных ложек.

Аэрофлот (экономия или борьба за моральную чистоту в своей системе?) начисто освободил аэроотели от дверных замков, ключей, щеколд и задвижек. И спит постоялец тревожным сержантским сном при открытых дверях, трамбуя щеками подушку с бумажником и аккредитивом под ней. Утром же сменяются горничные и, ворвавшись в номера, простуженными голосами считают в номерах простыни, полотенца, гардины и бра, лупят железочкой по графину: чисто ли звенит или кокнули уже, паразиты, сделали трещину в предмете? Тут само собой пассажиру идут на ум картинки из быта ссыльно-поселенцев, полустанок, грубые жандармы с усами и жандармский начальник, произносящий одно лишь: «Тэк-с, тэк-с...»

Такая трудная, на износ, идет жизнь.

Но все ж таки однажды тучи развеиваются, радио зовет совершить полет, стюардесса раздает карамельки, и северянин, из последних сил взыграв, шутит:

— Дамочка, а конфетки зачем даете?

— Чтобы уши не закладывало.

Он берет две и затыкает уши. В ответ раздается полсмеха.

А уж тут и вознаграждение за стойкость — последнее приземление, этот отпуск, лиризма тела и духа, вольности юга, шорты, патлатость, вино-шипучка, опровергание в среде квартиросдатчиков слухов о громадных северных заработках, пляжи, солнце и вечерние тихие дворики, наполненные злыми голосами родителей, зовущих детей по домам.

Тем временем дни уходят в былое, и остаются думы.

Близится великий откат с побережья. Растет рекламная активность Аэрофлота. Вдоль набережных выставляются зовущие в небо лозунги, и есть среди них все, кроме разве что последнего лозунга:

ЗАМУЖ — САМОЛЕТАМИ!

Но северянин, обрамленный детьми, не верит. Твердой стопой он идет в кассу желдорвокзала. В стали пока что больше покоя, чем в алюминии. Сталь просторна, крылатый металл тесен. Пусть в зазкомленном, скаредном самолетном пространстве кому-то другому, бездетному, спинкой кресла сплющат загорелую грудь, вдавят ноги в желудок и всяко стеснят. Никаких самолетов, до Москвы только поездом!

Так было, так будет. Обратный путь всех северян лежит через Москву.

В Москве северянин с женой, сблизив головы, вынимают заветный талмудик, смотрят, что надо купить себе и знакомым. Центнеровый багаж полетит за Полярный круг. Ибо там, в поселке Нунымо, все еще не продаются и в течение четырехсот ближайших лет вряд ли будут продаваться товары, попадающие в магазины Москвы.

Но Москва велика, даже громадна. Одних одесситов в Москве больше, чем, скажем, в Одессе. И северянину страшно трудно покупать товар в этом городе.

Сопронюту, страхового агента с Чукотки, сразу сминают в толпе. Потому что как ходит страхового агент Сопронюта, как ходит вообще северянин?

Северянин ходит непозволительно, с развернутой грудью. Привык на просторе. Олень!

Москвичи ходят не так. В других городах москвичей узнают уже не по аканью, а по походке. Пружинные москвичи ходят боком. Привыкли в толпе. Барсы!

Так представляете себе, насколько бедственно ему, Сопронюте, в толпе москвичей? И никакой вам справки, где что осмотреть. И никакого координационного пункта специально для жителей севера, который давал бы жилье, учил, где что быстрее купить, звал на зре-

лица, иллюзионы и снабжал отпускных северян правом преимущественного пролета. Нету.

Ничего. Нигде. Ниоткуда.

И нервы сгорают. Рушатся опоры здоровья внутри организма.

Через неделю, сев на грудь товара, глава семьи говорит:

— Плохо. За билет берут с носа. Кабы брали с веса человеческого, багаж бы мы бесплатно везли!

Да, так. Северный человек после Москвы уже ничего не весит. Калория из него вышла вон. Время съел ширпотреб, достопримечательностей не видели. И пора отбывать.

— Самолетом? — с дрожью в голосе спрашивает жена.

— Поездом? — тоскливо гукает муж.

Поезд до Хабаровска — что это такое? Северяне знают. Это семь суток езды сквозь просторы. В первый же час езды директор вагона-ресторана, доведенный до отчаяния вопросами о пиве, выбрасывает транспарант, что пива нет. (В дальнейшем предлагается конструктивно улучшить вагоны-рестораны и уже при строительстве большими постоянными медными буквами объяснять все про пиво.)

На второй день езды грянет скука. И кто-то первым сделает визит к проводнику, покажет диплом инженера и искательно спросит, не надо ли чего починить («Специальность позволит, справлюсь!»).

За этим человеком последуют все. Но проводник всем даст отлуп. Он сам любит чинить педаль в клозете, топить печку и подметать пол. На отрезке земного шара длиной 6 тысяч километров да при скорости 60 км/час любая работа приятна!

И пойдут под стук колес смятенные ночи, и шаги в коридоре, и бормотание честолобивого помощника начальника почтового вагона, который замыслил знать не меньше начальника и зубрит по ночам:

— Нюра, одевай шубу, скоро зима...

Станции действительно идут по этой шпаргалке: Нюра, Шуба, Зима и т. д., и т. д., и т. д., и т. д.—ээээ... Тоска.

— Тогда самолетом? — шепчет жена.

Да, самолетом.

Вот как это выглядит, дорогие сограждане.

Глава семьи берет на Ленинградском шоссе, в аэровокзале, билеты. Дисциплинированная семья точно прибывает во Внуково.

— Ба! — говорят во Внукове регистраторы. — Да вы чего к нам приехали? Это домодедовский рейс. Гоните туда, может, поспеете!

— Но, — говорит глава семьи, убирая голову в плечи, — что же тут написано на билете, а? «Внуково»!

На него смотрят, как на ребенка. Жена его тем временем уже занята: плачет.

И глава, стискивая зубы так, что крошатся пломбы, волочит багаж к стоянке тачси.

Здесь будет приведена отрядная, виденная автором сцена выделения душевного тепла.

Ночью во Внукове — один против озверелой толпы пассажиров — диспетчер такси, скромный заиндевелый герой, оттер грудью толпу и без очереди посадил в два такси семью северян.

Конечно, стране кстати знать, кто этот герой, без совещаний и прений давший северянам право преимущественного проезда. Но, спрошенный о фамилии, он назвал что-то краткое, что скорее всего не фамилия.

А что ж северяне? Уж летят ли? Летят.

Ах, густая каша подмосковных Внукова, Домодедова и Бабушкина! Ах, недочеты служб перевозок, низкое качество стыда и кукишный сервис!

Северяне летят. Загнав два такси, все же успели.

— Стюардесса, не надо конфеток, у нас валидол. Запить? Запить дайте. Тоня, не позволяй детям спать. Пусть они сейчас утомятся и начнут спать с Магадана.

И правильно. Очень правильно. То, что начинается с Магадана, полагалось бы переносить под наркозом.

Вот бескормный, отчаянный путь: Магадан—Марково—Гижига—Анадырь — залив Лаврентия — Уэлен. А сколько сотен на нашем севере таких вот Гижиг!

И когда темный послеотпускной человек ступает на нунямскую землю, слеза выскакивает на воротник его полупальто.

— Прибыл! — шепчет он. — Уцелели!

И несносный начальник нунямский, которого недавно считал человек сычом, ущемителем прав и..., кажется ему светлым гением, под чьим руководством так бы и работать всю жизнь. И нунямский народ кажется голубиным, кротким народом, и полярные сияния трясут над головой подолами своих нарядных юбок. Жизнь хороша!

Но еще долго северянин, не обласканный решающими министерствами и ведомствами, перемещается по-московски, бокохождением, дергается во сне и кричит жестяным радиоголосом:

— Поезд на Воркуту стоит на пятом пути!

Ах, это — большое невезение, если вы с севера и вам заладит вдруг сниться отпущ.

ЛЮБОВЬ № 15

Точность, точность и точность — возьмем это девизом.

Никакой беллетристики — замкнемся на фактах.

Итак, смотрите по карте: Каспийское море, залив имени Кирова, субтропики от 38°58' северной широты до 48°50' и 49°58' восточной долготы. Это его границы. Вот весь заповедник Кзыл-Агач.

Должностные Арины Родионовны много лет говорили о нем сказки в лиро-эпическом, светлоокрашенном тоне.

Кзыл-Агач называли жемчужиной в ожерелье Каспия.

Называли также уникалом.

Передовой фортецией.

Эталоном дикой природы.

Но мы уже, в общем и целом, не дети. Что там сказки! Нынче на ночь читают и страсти по Агате Кристи и О. М. Шмелеву. Отвлечемся от сказок. Посмотрим на распеленатый факт.

Кзыл-Агач уже не фортация.

Нет, и не уник.

И никак не жемчужина, а, напротив, дико разграбляемый с суши, моря и воздуха угол земли.

* * *

Миллионы птиц из Европы и Азии извечно собирались сюда на зимовку: фламинго, священные ибисы и пеликаны, лебеди, гуси, казарки, турачи и султанские курочки, колпицы, кулики, чайки, бакланы, скворцы, черные грифы, орлы, цапли и выпи, скопы, крачки, стрепеты, утки...

Словом, тучи пернатых. Покрывали всю землю. Даже местности называли по цвету птиц: Акуша — белые птицы, Каракуш — черные птицы.

А если судить по названиям протоков (Белужья, Севрюжья), то рыба тоже водилась.

В 1929 году Кзыл-Агач стал заповедником. Первым хозяином при-

шел Наркомзем. Потом получилось мелькание: Уполнаркомвнешторг, Союззеркроликовод, Азохотцентр (он-то больше всех отличился, в 1933 году вообще перестал платить зарплату сотрудникам: ну вас!), потом какое-то Азербайджанское отделение Закавказского филиала (вроде звучит ничего, а если вдуматься, тоже обидно: отделение, да еще филиала!).

Итого четырнадцать хозяев сменилось за тридцать лет. Кто же пятнадцатый опекает фортецию?

А Москва. Главное управление по охране природы.

Управлять, естественно, стало малость полегче. Опыт, средства междугородной связи. Да и сам заповедник ужался: было 180 тысяч гектаров в 1929 году, стало 88 тысяч гектаров. Сельхозартели, товарищи, растут, ах, растут!

Отсюда поменьше стало акуши (белая птица). И каракуша поменьше (черная птица). И белуги больше не возятся в протоке Белужьей, равно как и севрюги в протоке Севрюжьей.

Это до некоторой степени грустно. Зато получилось компактное, сжатое в единый кулак хозяйство. Нет стихийного кишения птицы и рыбы. Отрегулирован штат: два поста охраны на море, семь постов охраны на суше, а научных сотрудников — по желанию. Сколько чужиков пожелает сидеть в камышах на куцем холостяцком окладе, столько пусть и сидит.

Замечательно все утряслось, разрешилось. Правда, вылезли пять побочных вопросов, но сзалили и их. Территориально отняли заповедник у района Ленкорани и передали Сальянам. А чтобы Ленкорань не обиделась, на партийный учет заповедник поставили там. Тут еще вспомнили: а район Моссалов? И чтобы Моссалы не обиделись, заповедник подчинили им профсоюзно. А финансово и научно—Москве.

Мудро.

* * *

На рассвете поезд приходит в пограничную Ленкорань. Город спит еще, бормоча приоткрытым во сне ртом базара. Там ужелюдно, и шум реализации выливается за ворота. Серым, сырым и теплым рассветом, когда госторговля заперта еще на замки, когда милиционеры храпят так, будто и на ночь не выпускают свистков изо рта, пульс базара бьется вовсю. Здесь размещается у ворот аксакал, продающий сигареты «ВТ» по семь гривен за пачку. (Госцена—40 копеек, но вот поди найди в магазине—аксакал скупил все!) Здесь в ворота, не таясь, проходят мужчины с камышовыми мешками—зимбиями, и если даже человек донельзя наивный заглянет в тяжелый зимбиль, то уж сразу смекнет, что от Ленкорани до заповедника километров так сорок, не больше. Потому что с заповедных эталонов живой природы еще капает кровь.

В краю приевшихся баранов птица расходится быстро. Стало быть, к тому часу, когда отличники милиции, почистив асидолом пряжки и пуговицы, выходят работать, из форточек в улицы уже тянет легкоусвояемым консоме из угки. И рынок торгует уже сплошь легальным товаром, разве что инициативный аксакал корпит до сих пор, продает сигареты, драпируя поверх бородой.

Мимо ракушечных дюн, покоятых дикобразником, мимо рыбацких колхозов, спрятанных в вечной зелени сосен, олеандров и лавров, дорога лежит в заповедник.

— Директора нету,— сказал в заповеднике начальник охраны Симон Гигашвили.— В командировке директор, я буду показывать.

И пока начальник охраны ходил за машиной, мы осмотрели музей заповедника. И товарищи! В научном музее крупнейшего заповедника (сколько гордых абзацев мы читали о том, что нигде в мире этого нет, а только у нас заповедники возведены в ранг научных учреждений) стояли порушенные скелетики нескольких птиц, лежал печальный каспийский тюлень, траченный мышами, да висела над дверью плешивая, жалкая морда подсвинка.

— Нету токсидермиста,— сказал научный сотрудник Вольфсон.— Специалист по чучелам к нам не едет: нету условий.

— А кинофотоматериал?

Кинофото нам дали. Показали несколько снимков заката в заповеднике. Такого заката, что нигде не увидишь. А затем пояснили, что этим материал и исчерпан. Личный аппарат Вольфсона сломался, а казенного нет. На балансе, правда, числится какая-то техника, но уже в том состоянии, когда можно дарить школе, подшефным.

— Теперь посмотрим научку,— сказал В. Вольфсон.— Только электричества йох; пока светло, надо спешить.

За стеной была и научка. Там стояло на шкафу встревоженное чучело совки — хорошо от мышей,— был диван с капканным ржавым нутром и окопная печка.

На этом осмотр оборвался. Больше смотреть было нечего, ну, разве лишь гнездо деревенской ласточки, свитое над разбитым окном в коридоре, на давно пережженных электрических пробках.

Потом мы уселись в «Волгу», и шофер повел ее к морю сквозь камыши.

— Ты извини, Искендер,— говорил Гигашвили шоферу.— Если бы кто из Баку... А то из Москвы!

Товарищ наборщик! Пожалуйста, наберите курсивом: **ГЛАВНЫЙ ЗИМОВАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК СОВЕТСКОГО СОЮЗА НЕ ИМЕЛ, НЕ ИМЕЕТ И НЕИЗВЕСТНО КОГДА БУДЕТ ИМЕТЬ АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ-69».** Хотя, по вести, нужны были б три.

Скажут: зато грузовиков в заповеднике два! Действительно, два. И при таком обилии не кажется трагическим даже то, что грузовики давно стоят без бензина.

Спасает заповедник только Искендер. Искендер, шофер рыбхоза, бессребреник. Он не допустит, чтобы друг его Гигашвили унижался перед шоферами на большаке: эй, йолдаш, ну, подвези! Нет, Искендер не допустит. Он кончает работу в рыбхозе, заливает личный бензин в личную «Волгу» и возит, споспобствует.

В этот вечер, когда над субтропиками разразилась метель, мы пробились сквозь сугробы к усадьбе рыбхоза (почему рыбхоз внутри заповедника?) и посетили нутриевый комбинат (почему живодерня комбината внутри заповедника?). Затемно привел Искендер обледеневшую «Волгу» обратно. Снег хлестал в окна дома, и всю ночь над нами ворочался полный чердак скворцов, спасавшихся там от метели и стужи. Мы сидели перед холодной печкой с единственным «гостевым» ведром угля, потому что топлива в заповеднике тоже нет, вровень с бензином. Симон Гигашвили стоя, с рукой в потолок, цитировал «Закон о заповедниках СССР»:

— «Территория навечно изымается из хозяйственного пользования». — И показывал вдруг за окно: — Слушайте, слушайте! Слышите? Бьют дуплетами! Там, в камышах, сидят сорок вольнонаемных Центросоюза, все на лодках с моторами. Их направляет туда комбинат — ловить нутрий на шкурки, и против комбината нет никакого закона. «Навечно изымается» — где же оно?

Потом, после полуночи, к нам завернул на огонь дядя Шурка, сторож усадьбы, скинул в углу оружие, что висело у него через шею, как варежки, — половинки кирпича, связанные веревкой.

— Лебеди кличут в небе, — сказал дядя Шурка. — Пугнул кто-то с лимана. Снег, шарют бандиты. Того и гляди... За мою голову они много дают.

— Сиди, — сказал начальник охраны. — Бензина нет, воровать у нас нечего. Сиди, грейся.

— А все ж... — сказал дядя Шурка и кирпичи опять повесил на шею. Он прочистил розовый, детский, забитый снегом свисток и канул в метели.

— Что же ему не дадите ружье? Старик, да с таким оружием!..

— А ружье против нас поворачивается, — сказал Симон Гигашвили. — Нам охоту отбили стрелять.

* * *

Два дня над субтропиками кружила метель, потом солнце прососалось сквозь тучи. Зеленый, будто взлетел из горохового супа, загремел вдоль границы большой вертолет пограничников.

— Катер готов, — сказал начальник охраны. — В море пойдете вы катером?

Позвольте о катере. Тип судна — кулаз. По аналогии сразу вам вспомнятся «МАЗ», «КРАЗ», «ЯАЗ» и «БЕЛАЗ» — супергиганты.

Так вот. Кулаз — далеко не «БЕЛАЗ». Кулаз — это овечья поилка, на которую поставлен двигатель «ЗИД». Мощность — 4,5 лошадиных силы. Грохот слышен за два километра. Скорость при штиле на море — десять километров в час. Скорость во время морского волнения не установлена: тонет. На этом судне Сейфулла Алекперов стережет морские границы заповедника. Иногда за неделю удается объехать.

Хлюпая по зыби, откачивая банками воду, мы выбираемся в море, и вдалеке, оповещенный грохотом нашего «ЗИДа», изящно проносится браконьер на дюралевой лодке. Отворачивая лицо, браконьер кажет нам кукиш, пахнущий деликатесным кутумом, и уходит, прыгая по волнам с гребня на гребень. Он недосягаем. У него мотор «Вихрь» — двадцать лошадиных сил. Лодка его легка, а номер лодки он обозначил быстросмываемым коровьим пометом.

(Их было тринадцать, этих новейших моторов «Вихрь».

— Продайте их нам! — просил заповедник. — Иначе они попадут к браконьерам. Заповеднику это смерти!

— Деньги на бочку! — сказал райпотребсоюз. — На бочку — и моторы у вас.

— А перечислением можно?

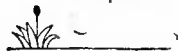
— Йох, даем за наличные.

Сунулись в банк. В наличных банк отказал. И все «Вихри» за наличный расчет ушли к браконьерам.)

Опустим картину заповедника с моря. Подойти близко к птицам мы все равно не сумели: слишком грохочет «ЗИД».

Опишем картину другую: мы встретили в море, под берегом, более сотни колхозных баркасов, шаланд и буксиров. Сознаемся, более ста — это было нетипичным явлением. Вообще их бывает всегда за четыреста, а в 1963 году — даже столько, что все лебеди и фламинго, вытесненные лодками с большого залива, погибли.

Что делали эти баркасы? Официально, планово, в самых что ни на есть заповедных, запретных водах они ставили сотни километров сетей. (В штормы птицы гибнут тут стаями.) Ставили сети и ловили рыбу уже не три месяца в году, по старинке, а девять месяцев,





с февраля по ноябрь, волокушным способом, сдирая со дна, уничтожая ракушечный птичий корм.

И как вам будет угодно. Почтите за вольность осмысления, но у рыбаков, как у прочих береговых людей из четырех прилежащих районов, вокруг левого глаза было больше морщин, чем вокруг правого. От частых прицеливаний. Из ружья.

Этот грабеж с моря, организованный, укрупненно колхозный, невиданный по охвату, за давностью стал уже как бы законным.

Нет, скорее, скорее на землю! Оставим водопокрытую площадь!

Но неуклюжий, глубоко сидящий наш гроб садится на мель, рыбаки глумливо хлопают по своим резиновым животам, а бледный от ярости морской егерь Сейфулла Алекперов берется за шест. До берега придется идти на шестах.

* * *

Не будем призывать, как полагалось бы призывать: «К оружию!» Призовем осторожно: «К делу!» Откопаем несколько мелких фактов из имевших место отдельных явлений.

а) Следователь Лерикской прокуратуры Кашаев, уложив на землю старика егеря приемами самбо, дважды силой открывал шлагбаум и врвался в заповедник. За это ничего ему не было, как и всем подобным налетчикам.

б) Наоборот. Научный сотрудник Билал Бекташев, преследуя браконьеров, сделал предупредительный выстрел. Каким-то образом на суде было доказано, что дробь облетела убегающего грабителя спереди, «чем засорив ему глаз». Ясно, дроби в глазу не нашли. Так, краснота, воспаление. Но Билал Бекташев получил три года тюрьмы. Таково заниматься наукой. Тут уж не до герпето-, не до батрахофауны, а лишь бы голову сносить на плечах.

в) В заповеднике было шесть тысяч гектаров лугов. На лугах гнезился турач и кормились стрепеты. Заповедник не косил здесь сено даже для своих лошадей. Сено закупали в брикетах.

Но Лерикский, Сальянский, Моссалинский и Кусарский районы год за годом грабили луга в черте заповедника. И получилось: из шести тысяч гектаров лугов сегодня едва набирается три. Тракторные косилки дают себя знать.

Что же суды, прокуратуры в районах?

Вот один из десятков случаев: восемь колхозов, лерикских и кусарских, были пойманы в заповеднике на сенокосе. Заповедник передал дела в райсуды. Суды, как всегда, от дел отказались. Республиканский суд обязал: рассмотреть. А райсуды все равно отказались, спихнули вопрос в арбитраж.

Арбитраж, правду говоря, не погнушался. «Истец,— вызвал госарбитраж.— Платите госпошлину, будем рассматривать дело. Два процента от исковой суммы, деньги вперед».

А откуда у заповедника семьсот наличных рублей?

И опять натянули нос Кызыл-Агачу. Двести семьдесят раз, по точному списку, натягивали и еще натянули.

А уж при таком отношении судей что не гулять! И:

а) Егеря Верахмета Дадашева перебрасывают связанным через седло, везут вниз головой и выкидывают в зарослях — пятьдесят километров от дома.

б) Двоих егерьей в заказнике убивают.

в) От случая к случаю зверски избивают всех.

г) Строят скотные дворы вплотную к черте заповедника, воротами открыто к заповеднику.

Бедняга Сергей Ватолин, экскаваторщик экстра-класса! Он не занимался приписками, когда говорил, что роет за день семь метров глубокого охранного рва. Он-то рыл, а ночью под вой и хохот шакалов голубые лунные фигуры стекались ко рву, плели фашины из тамариска и бросали, бросали. К утру рва уже не было, 70 тысяч овец и коров шли в заповедник, и сотни голодных пасту-

шеских собак уничтожали все живое в округе. В то же время упали боже стрелять, составлять протокол, потому что:

а) Нусрат Халилов составил, а ночью трактор затащил в заповедник издохшего колхозного буйвола, кто-то из пастухов тут же выстрелил ему в голову, и Нусрат Халилов едва отсудился, едва не был подвергнут тяжелому штрафу за убийство колхозного тягла.

б) Алиев Гамид протокол составил, но заповедник беден, в заповеднике нет даже аптечки. Теперь Алиев Гамид лежит больной, и, что бы с ним ни случилось, в сельских аптеках лекарства для него не дадут. И пока он стонет в приступе малярии, на его участке белым днем вырубают заросли тамариска и вывозят на топливо в села. А поскольку в республике популярен певец Муслим Магомаев, все пойманные называются его именем.

Нет конца этому перечню мрачных анекдотов. А бандиты забирают все круче. И когда в зарослях десять егерей окружают десятих браконьеров, предлагая им сдать оружие, сто браконьеров близ села Хармандали окружают егерей и упирают им в грудь стволы своих дробовиков чудовищного калибра, такого калибра, что в гильзах впору солить огурцы.

Приходится отступать на суше.

Приходится отступать на море, где налетчики коллективной облавой, с моторами «Вихрь» и прожекторами, бьют все живое, и только утки-поганки, смелые от сознания своей несъедобности, плавают в камышах.

За год браконьерские шайки уничтожают до трехсот тысяч птиц — полное удовлетворение дикорастущих потребностей.

И, урезанные кругом в правах и возможностях, слушают канонаду Володя Вольфсон, Симон Гигашвили, Сейфулла Алекперов — смелые, по большому, по гамлетовскому счету честные, но неполномочные люди.

* * *

Вот и все. Остается написать адрес и задать вопрос: МОСКВА, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ, УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ЗАПОВЕДНИКОВ. УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! ЗАПОВЕДНИК КЗЫЛАГАЧ БЕСПРАВЕН, БЕДЕН И НИКЕМ НЕ ЛЮБИМ. ВЫ ПЯТНАДЦАТЫЙ ЕГО ПОПЕЧИТЕЛЬ. НО ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЮБОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРВОЙ?

ВУНДЕРКИНДЫ

Что поставим мы у истоков темы?

У истоков темы надо поставить Одессу.

В то время приморский город еще не ходил в героях и значился пересмешником Российской империи.

Две специальности были у города: пшеница и вундеркинды. Пшеница поставлялась на экспорт, вундеркинды — на экспорт и на внутренний рынок.

В славном городе не глохли таланты. Разворошим историю, и история скажет нам: Нижний Новгород запятнан по этой части, но никак не Одесса. Ибо в Нижнем Новгороде произошел этот случай. Двое отроков явились поступать в хоровую капеллу. Инспектор велел им прокашляться и начать.

Из этих отроков приняли в хор одного. Звали его Алексей Пешков (впоследствии Максим Горький). Второго, по имени Федор Шаляпин, отсеяли ввиду неподачи надежд.

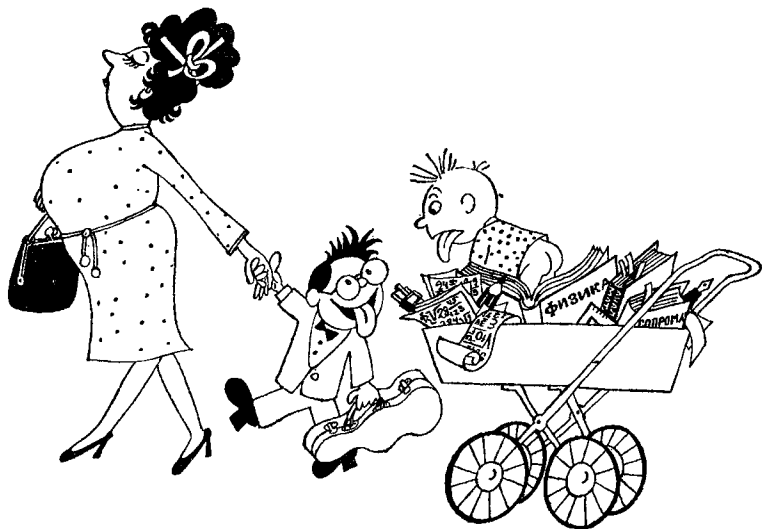
Будем кратки: Нижний Новгород достаточно не разбирался в делах. Нижний Новгород не имел своего профессора Столярского.

Ныне немногое известно о великом одесском профессоре. Сохранилась фотография: он на борту парохода «Ратьковъ — Рожновъ» рядом с дамой в полувауали, а также знаменитое заявление в Одесский губком: «Прошу властей отремонтировать в Столярского автомобиле калитку».

И мало кто знает, что именно этот чудаковатый старец воспитал человечеству почти всех скрипичных гениев двадцатого века.

Пропитанная скепсисом и критической мыслью Одесса не признавала авторитетов. Но редакция не получит ни одного ругательного письма от одесситов со стажем, если сказать: два непрерываемых авторитета были в городе: окулист профессор Филатов и педагог профессор Столярский.

Все причерноморские мамы, умыв дитя, надев ему на нос продукцию профессора Филатова и поправив на шляпке гроздь вишен, теребили звонок у заветных дверей. Дверь открывалась, и дитя, дрожа всем непрочным каркасиком тела, представало перед великим профессором.



Великий профессор был не слишком задавлен культурой эпох. Вместо слова «триумф», например, он всегда говорил «тримиф» и был убежден, что в слове «самообразование» неправильно писать два «о» подряд и какое-нибудь из «о», очевидно же, «а».

Но распознать гениальность в ребенке он умел, как никто. Он отсеивал сотни мальчиков, виртуозно владеющих скрипкой, и по неясным скрипичной общественности факторам брал под крылышко невыразительных пиликальщиков. Ну, например, мальчика Давида по фамилии Ойстрах.

И родители отсеянных мальчиков не роптали, не давили профессора связями с Русским для внешней торговли банком, не жаловались в городскую управу и градоначальнику, что «зарезан светлый талант России», как это сплошь и рядом бывает теперь. Родители соглашались: Столярский знает, Столярский — бог.

А он делал свое дело, и когда его ученики разошлись по всему свету, а он лишь получал сведения, что его ученики повернули к себе все медальное золото мира, он говорил:

— Закономерный тримиф.

Но тут прошло несколько лет без музыки. За эти несколько лет

утвердилась новая точка отсчета времени в молодом государстве. И молодая педагогика государства, влезши в горнило большой перестройки, долго плутала в неориентированном дымном горниле. Были загибы, заскоки, уклоны, побочное лупцевание литературных стилей Корнея Чуковского:

— Надо, товарищи, критиковать как стили, так и Чуковского! Откритиковали — выступили на борьбу с вундеркиндом. Предали анафеме.

Конечно, тяжело: выдать одаренность ребенка за негармоничное развитие личности. Но ничего, покусились. Опрокинули выявительные теории по маленьким гениям. Дошли до теорий Столярского, озадачились, погрызли ногу, сказали:

— Надо, товарищи, критиковать как теории, так и Столярского!

А время, конечно, шло. И настал час, когда педагогика вылезла из горнила, прошла. Вычеркнули из меню Корнея Чуковского, раздался вполне трезвый голос:

— Открывать одаренных детей!

И поступили сведения, что не только в перспективной Одессе, но также в Селец-Завоне, Култуке, Торжке, Гуляй-Поле, Ельце живут дети с необычайно извилистыми мозгами.

Поступили сведения, что качественно изменился сам тип вундеркинда. Вместо бледного существа с пергаментной кожей и синими жилками на виске, склонного к обморокам и уединению, открыли подвижную личность, с тягой в коллективизм и общение.

Теперь одаренных детей разыскивают. Не везде, правда, с достаточным рвением, не везде озаботясь как делом большой государственной важности. Но РСФСР глазами назначенных министерств вперируется в свои населенные пункты. Вперируется Украина.

Это фантастично — отношение Украины к одаренности в детях. Университет, Академия художеств, Союз писателей, Союз композиторов, консерватория, спортивные общества связаны нитями оповещения уже чуть ли не с детскими садами и родовспомогательными учреждениями.

Украинский родитель не опасается. Он знает: если маленький Михась с завязанными глазами, помня все ходы на двадцати шахматных досках, разделявает под ноль двадцать взрослых чоловіков да еще уличает колхозного счетовода в мухлежке с ладьей на F_2 , — быть мальчику в Киеве.

Если девочка в далеком селе удивляет всех пластикой — быть ей в Киеве, в школе одаренных спортсменов или в школе хореографически одаренных детей.

Если Галя Бондаренко из Гуляй-Поля в третьем классе спасает двоечников-восьмиклассников от краха по математике — быть ей замеченной и быть в Киеве, в республиканской спецшколе при университете.

А эти киевские спецшколы! Талантливые и наверняка многодетные строители возводили тут здания. И республика, надо думать, любила детей, если не позволила алчным влиятельным организациям захватить эти здания.

Мы шли на последнее интервью галереями и холлами специальной музыкальной школы имени Лысенко при консерватории. В кабинете Виктора Владимировича Ермакова стояло фортепиано и висели афиши знаменитостей, лауреатов — нынешних учеников школы. Потом пришел очень серьезный мальчик Леня Пятаков в белоснежной рубашке, заштопанной, но аккуратной курточке и коротковатых брюках.

Прежде Леня Пятаков жил в поселке Бучи. В спецшколу был принят по рекомендации профессуры консерватории — разведали, нашли мальчика. На него возлагаются большие надежды, и каждый месяц Леня Пятаков должен сдавать профессорам отчет в письменной форме: как проводил время, что успел сделать.

Отложим юмористические причиндалы, поговорим о человечестве.

Есть дети, которым сам бог велел стать вундеркиндами. Ну, положим, папа, мама, баба и деда в семье — математики. В силу наследственности и окружения ребенку трудно стать нематематиком.

Скажем, мама — аккомпаниатор, папа — профундо-бас. Дочка в этой семье без потуг войдет в компонику.

В генетике известны наследственность и изменчивость. Наследственность — отнесемся к ней уважительно. Но славьте изменчивость, наше главное благо и достояние. Изменчивостью прирастает прогресс человечества. Изменчивость — это Михаил Ломоносов, Леонид Пятаков, феноменальный Юрий Никулин.

У Пятакова чудесная мама. Она воспитатель детсада, но к музыке непричастна. Папа от музыки далек, далек от семьи и вообще морально-некрасивый товарищ. Но Леонид Пятаков родился композитором, сразу композитором, неизвестно в кого.

Он внимательно глянул на нас, поддернул рукава старенькой курточки и сел к инструменту. Он играл фрагменты из последней своей композиции «Времена года». Потом он — неполных четырнадцать лет — рассказал о своих сюитах, импровизах, прелюдах, о своей первой учительнице Валерии Леонидовне Вязовской. Мы пожали ему руку и пожелали успеха. Он сказал «до свидания» и пошел работать над оперой («Осталось много доделок. Летом у меня достаточно времени, я читал сочинения Шиллера. Мне больше всего нравится Шекспир, только Шекспир не во всем доступен для меня. Должно пройти еще несколько лет, чтобы я смог разбираться в переживаниях его героев, а без этого разве есть право писать музыку к его трагедиям? Я выбрал «Мессинскую невесту» Шиллера. Либретто мне тоже пришлось написать самому. Ведь театральные либрет-

тисты не стали бы писать для меня из-за моего возраста. Я проиграл, конечно, от этого, но опера уже готова».)

— Скажите,— спросили мы завуча Виктора Владимировича Ермакова.— Только так, положи руку на сердце: а могли бы не открыть, проглядеть Пятакова?

— Нет,— сказал завуч.— Будь мальчик одарен даже в три раза меньше, он все равно попал бы сюда.

И тут просится, лезет в текст отступление. Антик Софокл, классик Гашек и другие словесники сожалительно писали о затертых, затерянных, не проявленных в мирской суете талантах. И давали проекцию небесного рая, где всяк в отличие от земли сидит на истинном месте, в меру природных способностей. И там, в раю, адмирал Нельсон, Михаил Кутузов и Наполеон Бонапарт сидели отнюдь не над всеми военачальниками, а сидел на главной ступеньке стекольник из Гдыни, в котором люди затерли при жизни наивысшего полководца.

Так как же теперь с прижизненным выявлением дарований?

Вот объективное свидетельство: если есть рай и в раю украинский сектор, сектор можно вполне упразднить. УССР руками сотен новых Столярских поворачивает каждого ребенка лицом к свету и заглядывает в глаза:

— Ну, малэсенький, в тебе кто сидит?

На Украине есть девушка Оля Шевченко. Она побеждала на самых высоких астрономических и филологических олимпиадах. Она окончила школу с золотой медалью. Она была человеком, очень желанным науке. Но произошел тот несчастный на Украине случай, как с Шалапиным в Нижнем Новгороде: ее не приняли в институт. Потому что она знала тьму спожнейших вещей, но не знала двух прописных истин, тогда как студенты из породы усидчивых знают все эти истины.

Оля Шевченко уехала. Но Киев не рассудил так, что, мол, пусть, что не она, будет другая, много разных Оль.

Но ее, Олю, персонально шукуют. Ищут профессора Всехсвятский и Горделадзе, ищут газеты.

И, конечно, найдут, чтобы она заняла свое место.

У писателя Бабеля (три вундеркинда жили в этом человеке, и Горький был его профессором Столярским) есть рассказа «Карл-Янкель», и рассказ кончается такими словами:

«Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карла-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня».

Есть очень хорошая драка на свете. Есть очень хорошая драка, в которой нам всем нелишне участвовать.

МАЭСТРО, ТОЧИТЕ ЛОПАТУ!

Это не подлежит сомнению: жизнь проходит. Время мчится мимо нас на такси, и изменения в жизни так часто сменяют друг друга, что не всякое успеваешь понять. Что ни день другие возникают приметы.

И лишь иногда, в жаркие августы, ты замечаешь, что не все изменилось, что целы кой-какие мосты, по которым из детства ты подвинулся в зрелость. Не обветшали, служат, связуют.

Ах, как давно это было! Еще цел был Арбат и Собачья площадь. Четырнадцать лет назад, совсем еще молодым человеком, я пришел туда наниматься в Музфонд СССР, переписывать ноты.

— Поете с листа? — строго спросил кадровик, бестелесный и длинный.

С листа я не пел. Когда-то ребенка поспешили выгнать из школы, не научив даже этому.

— Шансы слабые, — сказал бестелесный и длинный. — Партитуры вам не осилить. Вам у нас места нет. Вот тут рядом Собачья площадь, идите туда. Нынче люди с собаками не успевают гулять, все подались в совместители, на полторы ставки. На Собачьей и формируют как раз сводную группу пуделей. Будете их прогуливать по утрам и в обед, пока нету хозяев. Плата хорошая.

И я уже было пошел, как вдруг набежал некто маленький, толстенький и животом погнал бестелесного в угол. Они там стояли, как бильярдные шар и кий, и маленький, толстый шептал про меня:

— Но ведь он молодой! А уже на носу месяц июль. Ну, скажи мне, июль или не июль?

По этой странной причине, что я молодой, а на носу месяц июль, мне дали место.

— Инструктаж вам сделают наверху, — сказал кадровик. — Мы приложим усилия, чтобы вам здесь понравилось.

Наверху меня взял за талию пожилой человек.

— Юноша! — сказал он. — Спасибо вам от коллектива, от семей и иждивенцев сотрудников. Мы у вас в неоплатном долгу.

— Я...— сказал я.

— Нет-нет-нет! Мы и еще раз мы должны благодарить вас. Нам дают разнарядку: один человек должен ехать от Музфонда в колхоз. Помогать в виде шефа. Но кому из нас ехать? Я страдаю блуждающей грыжей, сложите всех остальных, и вам не собрать одного здорового человека. И тут приходите вы... Вы рыцарь, молодой человек! Мы сделаем все насчет вашей высокой оплаты.

Очень приветливо со мной обошлись. А в сентябре я поехал в колхоз.

— Привет, ребята! — сказал я работникам, сидевшим в избе.— Я от Музфонда, а вы все откуда?

— Садись! — приказал нетрезвый гигант с прилипшей ко лбу головой кильки.— Паша Черный Лебедь меня зовут. От мелких организаций мы все. Ты тоже, видать, подставной, на время уборки взят?

— Также,— сказал я и, уважая обычай, через колено отломил себе хлеба.

— И я,— сказал нетрезвый гигант.— Шестой год подряжают. И по лекторскому окладу ездил и вроде как врач санэпида, в прошлом году инженером был взят на два месяца, а нынче парфюмеры меня подрядили. Начальнику ихнему я говорю: «Змей ты, Аристарх Николаич, змей, не человек! Проведи меня по окладу главного технолога, а то не наймусь, не вырuchu! Картошку копать — это каторга при другом-то окладе». Ну, он обещал. А сердцем я чувю, обжулит.

До октябрьских дней мы тогда копали картошку.

— Ну вот,— сказал в сентябре Паша Черный Лебедь.— Откопался. Зарплату как получу за технолога — в городе гульбу открою. Аристарх Николаич, змей, теперь от меня не отвертится. Будет платить. КЗОТом его замучаю. Шантаж произведу. Ты гляди, на будущий год приезжай. Своей компашкой теплее.

Так сказал Паша Черный Лебедь, прошедший полную школу нетрудового растления психики.

Но жизнь повернула по-своему, в компашку мы больше не слились. Тысячи положительных перемен произошли с той поры. Четырнадцать лет — срок преизрядный. И отрывкой прошлого вспоминался П. Черный Лебедь, копщик картошки с зарплатой технолога, как вдруг...

— Эй,— сказал мне в новокузнецкой закусочной нетрезвый гигант.— Не узнаешь? Павел я, Черный Лебедь! Завтра отбываю в поля. Часовая артель подрядила, оклад мастера дали. А ты от кого?

— От «Крокодила».

— Хоть сорвал с них чего?

— Да не особо: сто сорок. А ты каждый год все ездишь, не отпала потребность в тебе? Гляди, сколько лет...

— Какое! — присанился Паша. — Я кругом нарасхват. Я аж и водки больше не пью — коньяки! А что? Дельного работягу с города кто отпустит в колхоз? Его не отпустят, он план да качество давит. Значит, только и есть поклоню, что мне. Фигура я. Ценный. Пойду лопату точить. Нынче уж со своей лопатой ездить положено, колхоз не дает.

И мы поехали вместе, слились.

Чудная осень баюкала картофельные равнины Урала. Неблесткая луна освещала пути. Белый палаточный городок маячил вдали. У костра сидел пожилой человек с напильником и печально смотрел на груды лопат.

И как был неправ безобразный Паша! Он плел что-то плохое про город, но город посылал на уборочную кампанию тысячи лучших людей. Это их палатки белели окрест. А печальный человек с напильником был машинистом. Не подставным каким-либо лицом с зарплатою машиниста, а настоящим локомотивщиком, орденоносцем.

— Двести человек нас тут из депо, — сказал он. — А в депо переездки к чертям летят.

— А там кто, там, дальше?

— «Металлург» в той стороне, совхоз. У них всегда копают литейщики с Кузнецкого комбината, вот и совхозу название — «Металлург». Литейщики да сталеплавильщики. А в той стороне — Ильинский совхоз, копает научный институт ВостНИГРИ. Уж второй день, как приехали, а все по вечерам песни поют. Несгибаемые, видимо, люди.

— А что же техника, комбайны, копалки?

— По телевизору это, товарищ. В практику не вошло. Тут ходил к ученым только одалживаться, так один кандидат наук пояснил. Говорит, есть для картошки машина, изобрел человек. А как стал ее оформлять, ему говорят: нет. Мол, не сможет работать такая машина. Тогда изобретатель нацелился хоть приоритет получить, а ему все равно говорят: нет, и приоритета вы не получите, потому что такие машины давно уж работают в Англии.

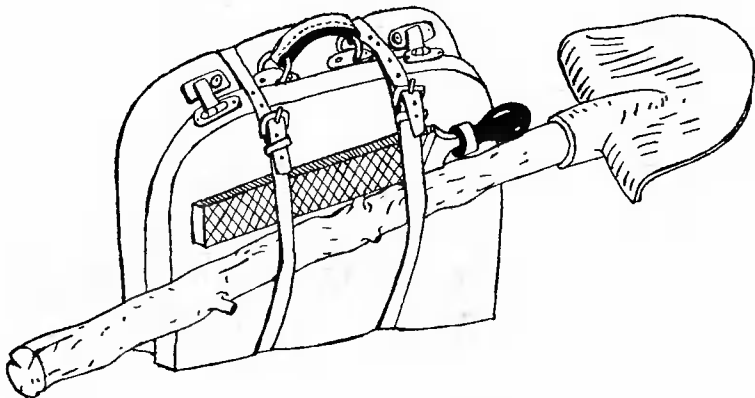
Луна катилась к рассвету. Оттуда, где разбили свой стан несгибаемые ученые, слышалась песня.

— Хорошо поют, — сказал я у дальних костров, набиваясь на разговор. — Что значит наука!

— Запоешь! — с ненавистью сказал товарищ руководящего вида. — Тут запоешь!

И вдруг запевала в момент как-то охнул, зажался, будто простреленный, выбежал из освещенного костром круга и с шумом канул в кустах. Хор рассыпался и тоже помчался.

— Животами страдаем, — угрюмо сказал товарищ руководящего вида. — Совхоз вот не кормит и воды в этом году не дает. А с налаженного питания как сползли, нажевались из кулака сухоматки, всех



и скрутило. Старичок еще, гад, пришел, местный ведун. «Знаю,— говорит,— что у вас животами страдают. Так вот, травы целебной не купите ли? Хорошая трава, слабит, не пробуждая!» Мы той самой травки и приняли. А она и вправду: «не пробуждая». Теперь ночь напролет поем, боимся заснуть. Поем да лопаты точим. Заикнулись про технику, так ихний бригадир говорит: «Много вы понимаете, городские, с носу да в рот. Лопатой копайте, а то справок не дам!»

— Справки, значит, остались?

— Остались. Ты приехал как шеф, доброволец, а попал головой в силки. И пугает тебя совхоз: ну, только попробуй, шеф, нам не угодить, не потратить — о проделанной работе справок не выдадим. И что? Помыкают. На завод ведь без справок не сунешься, сразу выговорами обвешают. Ну, пора выходить, вон и Шишкин, ответорганнзатор бежит.

И они вышли в поле, сотни рабочих высшей квалификации, технологи, инженеры, неподставные маэстро. Батальное сверкание вспыхивало на кромках лопат.

— Вот,— сказал ответорганнзатор Шишкин.—На заводе я начальник отдела труда и зарплаты. Мы долго воспитывались в духе: «Что мы, жадные, что ли?» А пора нам учиться быть жадными. Позвольте я скалькулирую. Сначала нас, добровольцев, запугивают: «Копай лучше, а то справок не будет!» Потом идут дальше: «Эй, горожане, где ваши машины? Гоните машины, не то справок не будет!» Приходится нанимать машины, по уши садиться в расход. И тут же: «А

грузить машины кто будет? Ну-ка, грузить, а то справок не будет!» Грузим. И заметьте, при этом совхоз обязательно принимает позу кормильца.

Но если по справедливости? Убираем мы картошку в совхозе, так ты, совхоз, накорми людей! Не кормит. Дай молока парного заводскому детсаду! Не дает. Дай свежих продуктов в заводской санаторий! Нет.

Все здоровые связи нарушены. А поскольку известно, что на будущий год шефы снова приедут, сделают все руками, то и техника полей не растет. Техника — хлопоты, пусть горожанин ковыряет лопатой.

А лопата — это сотни тысяч человеко-часов, потерянных для производства. Нанимать бы, конечно, Пашу Черного Лебедя, так нету в нужном количестве. И что должен делать в этих условиях начцеха наш Иванов? 410 человек работает в цехе. 310 из них вывозит Иванов на уборку. Ясно, техники не дают, идет копка ручная. Люди стараются, а в срок не осилить. Что Иванову? Выговор. Резко. В приказе.

А там уж ему зреет выговор за перебои с цеховой квартальной программой: работали плохо, в полях находились.

И директору зреет взбучка от главка: невыполнение заводом того да сего. Уборка уборкой, а продукция пусть не хромает!

Тяжела доля заводского директора! Зря он будет в главке ерзать на стульях и стучать манжетами, доказывая, что вот же, посудите: мы делаем буровые машины, но было бы странным, начини мы требовать, чтобы эти машины приезжали собирать к нам шахтеры.

Не поможет директору убедительный довод. Директору всадят выговор.

Главку же выговор даст министерство.

И министерству даст нахлобучку Госплан: за лихорадки, убытки, авралы, топтание на месте.

И все пойдет дальше по кругу.

Хотя самое время рассмотреть Госплану один непрофильный вопрос — про любовь. Какой в наших новых условиях должна быть любовь между городом и деревней и как им оформить свои отношения.



КОМБИНАТ БЕЗ ВЫВЕСКИ

Растеряв трудовой стаж на обширных европейских равнинах, Грязный Яня (в миру Яков Андрееч Авраменко) прибыл на склоне лет в город Инчу.

В милиции он запустил руку в карман, вынул бутерброд, обернутый бумагой, бутерброд съел, а бумагу отдал на прописку. Это было метрическое свидетельство.

Прописку ему разрешили, но при этом строго осведомились:

— Ты зачем, брат, в округе всех скворцов поедает? Больше не делай!

— Да ладно, — сказал Грязный Яня. — Я уж помнить забыл.

Два дня человек без стажа ходил по городу и присматривал дело.

В третий день его тяжело побили за кражу собаки. Но Грязный Яня даже не ойкнул. В жизни его били так часто, что при этом он испытывал разве лишь скуку.

Так и ходил Грязный Яня мимо бань и других очагов культуры, стучал палкой по заборам и, услышав лай, загибал пальцы для счета.

— Скворцов-то пожрал! — кричали ему. — Душегуб!

— Еще кур пожру ваших! — грозил населению Яня. — С перьями ликвидирую!

Эти угрозы довели Яню до райисполкома.

— Вы чего всем грозите? — сказали ему. — Полагаете встать на работу? Тунеядцев мы не потерпим. Сапожный киоск, чистить ботинки — ну, соглашайтесь!

— Не, — сказал Яня. — Мне чего проще. Я душегуб, давим собачков.

— Посидите в приемной, — сказали ему. — Мы решим насчет вас. У нас есть проблема собак.

Все ложись!

Страна преодолевала пятидесятые годы. На дворе санэпидстанции летали пчелы. Дежурный врач с правом сна поливал флоксы. На лавочке, ожидая прививок, сидели два почтальона, покусанные собаками. Главврач по телефону беседовал с исполкомом.

— Станция? — кричал исполком. — Предпринимаете что? Человекопокусанность прет из всех сводок!

— Мы вакцинируем! — рапортовала станция.

— Кой черт! Надо вам взять отлов в свои руки. Ваше прямое дело!

— Товарищи! — возмутилась станция. — Почему мы да мы? У нас на шее микробы. Эпидемии. Крысы. Тараканы. Общественное питание. Клопы, наконец, двадцать две тысячи видов одних клопов: клоп австрийский, клоп дворянский, черный клоп маврский... Куда же еще собак? Нам нельзя расплывать силы

— Ладно, — ответил райисполком. — Тогда передадим дело частнику. Тут просится один человек.

В этот день Грязный Яня получил мандат на уничтожение собак в районе и городе. А поскольку районным и городским властям всегда было некогда производить регистрацию верных друзей человека, все районные и городские собаки попадали в списки бродячих.

И частник Яня был рад. Белым днем, при большом стечении народа, он вышел из дому с тяжелой одноствольной фузеей и сделал почин. Он вынул из уха осаленный пыж и забил его в дуло.

— Все ложись! — сказал Грязный Яня и вскинул фузею. Грянул выстрел. Базар заволокло вонючим дымом. Яня взял трупик за задние ноги и с досадой сказал: — Эка влипил — и шкуру не сымешь!

У зубного врача Крячко больше не было белой болонки. В центре города, на Коммунистической улице, стала работать смрадная живо-дерня. И душегуб, покончив временно с городом, взяв с госконюш-ни коня порезвее, пустился объезжать засобаченные сельские местности.

Схватка в степи

Солнце висело над умытой равниной. Коротко падали тени. На озими ковырялись грачи.

Жуткий поезд двигался по сельской дороге. На возу, запряженном буланым конем горкомхоза, сидел человек с дубленным лицом. На нем были флотские штаны третьего срока годности и рубаха без



одного рукава. Грязный Яня достал из сумы помидор и обтер о штаны. Помидор перестал блестеть.

— Н-но, квелиа! — приструнил лошадь злодей.

За телегой, понунив хвосты и головы, на длинной веревке плелось с полсотни собак.

В поле стоял одинокий каштан. Душегуб любил снимать шкуры с сельских собак в шатровой тени каштана.

— Повесим собачков, а шкуры посылем, а мясом откормим свиней! — запел душегуб и кузнечными клещами поволок к петле первую жертву. — Мы шкурки загоним и свинок загоним, а дом будет жестию крыт!

И тут в степи показался всадник.

— Погоня! — пробурчал душегуб. — Второго рукава едут рвать.

Погоня разворачивалась в окропленной солнцем степи — всадники и велосипедисты. Один маломощный велосипедист летел по равнине, ухватившись рукою за хвост коня.

— Настигают! — злобился душегуб. — Крови хотят. Ну-кось, ближе подпустим. Ближе идите, добродии. Вот я вас, тараканов! — победно закричал Грязный Яня и перерезал веревку.

Собаки, узнав хозяев, радостно летели навстречу погоне. Погоня вильнула в сторону. Но собаки, связанные одним вервием, опередили, подкатились под ноги.

Первыми рухнули всадники. На них повалились велосипедисты. К небу летели проклятья. Грязный Яня, лениво махая кнутом, катил по дороге в город.

Страшная бойня

Афоризмы весьма украшают жизнь.

На свете есть миллион афоризмов. «Плутархов нет, но архиплуты есть», — сказал в свое время Я. Осипович.

«К прекрасному можно привыкнуть», — гласит индийская мудрость, — к безобразному ж — никогда.

Есть, бесспорно, твердые афоризмы. Никто не оспорит Я. Осиповича. Я. Осипович стоит скалой.

Но индийская мудрость порушилась. Город Инча опроверг индийскую мудрость: он привык к безобразному.

Так бывает. Каждодневно бросаясь в глаза, безобразность становится, скажем, терпимой. С нею не борются, к ней попривыкли. Проходит еще десять лет — и она уже норма жизни. И надо приехать издалека, может быть, из Москвы, чтобы всплеснуть руками и разозлиться.

В Инчу отпускник приехал из Москвы. В дырчатой летней шляпе шел он на почту, но вдруг легкое дуновение ветра покачнуло его.

Нет, не индустриальная Москва, не одиннадцать месяцев напря-

женной работы довели человека до шатаний под ветром. Отпускника пошатнул не ветер, а запах, навеванный им.

На земле насчитывают семь тысяч запахов, включая подводные. Но тут был, наверное, 7001-й.

— Боже! — воззвал отпускник, держась за забор. — Что это пахнет?

В этот миг над забором поднялся мужчина с граблями. Нос его от вони был зажат бельевой прищепкой.

— Эт, миляга! — прогнусавил человек с граблями. — Ты, знать, приезжий! Наши-то с прищепкой привычны ходить. На вот, зажмись. За детсадом трупильня, цыган топит на сало собак. Эвон в том доме, под жестью. Полтора ста собак в месяц давит.

Возле страшного дома в пыли копошились щеночки. Кровавое зрелище представало глазам. Свежезарезанный кот висел на стенке сарая. Полумертвые псы задыхались на ржавых цепях. Еще двадцать штук рыли землю, вращая глазами.

— А коза! — закричал отпускник. — Посмотрите, вся в мухах!

— Гниет животная, — пояснил местный житель. — Гля, и вымя отпало. Он большую скотину со всей округи везет, в корм собакам да свиньям. Падло тоже привозит, лошадь либо телка. Он сразу собаку убьет, копи шкура хорошая. А ейным мясом других собак кормит, покуда шкура у них не взлущает. За хорошую шкуру два рубля берет выручки. Сучья вымя выносит в продажу на рынок, сало собачье от кашля.

— Невозможно! — сказал отпускник. — Это тут, в самом центре? И люди не жалуются?

— Жалились! — вспомнил прохожий. — Первые три года как жалились. В Киев, в Чернигов. А оттуда инчанским властям на усмотрение шлют. А нашим властям Яня полезный. В автомобиль казенный под ноги чьи шкуры кладут? Соображать надо! Опять же прохоря да унты для охоты пошивают с чего?

Воля высшей инстанции

— Десять лет! — волновался отпускник, перебегая от стола к столу в раймилиции. — Десять лет он мешает людям жить в городе. Почему вы не пресечете его?

— Товарищ! — разводили руками сотрудники. — Ну что мы поделаем? Весной собаки его одну женщину порвали, с пекарни. Хорошо, лицом успела упасть, а то бы лицо скусил. Старшина Синица А. А., у нас работавши, на него сто протоколов составил. Следователь Марухно при этом деле замучился. Никак Яню не ущемить по собачьей линии — есть приказ высшей инстанции.

— Да,— горевал начальник милиции.— Невмочно нам против исполкома идти, мы орган при нем.

В высшей инстанции

— Друг животных,— представился отпускник.— Проживаю в Москве.

— Щирый-Куксо,— привстал секретарь исполкома.— Как там столица?

— Столица в порядке. Я к вам по вопросу трупильни.

— А predisполкома в городе нету.

— А заместитель?

— Его тоже нету. А трупильня, там тепер уже лучше. Уж и в жаркие дни запах меньше шибает.

...Город спал. Теплая украинская ночь лежала над аграрно-промышленным городом Инчей. Ветер баюкал облака. Спали заводы, мастерские и комбинаты. Плановое хозяйство черпало силы для дневного броска. Толстые лучи торчали из звезд, как ростки картошки в подвале. А на земле было повсюду темно, и лишь в одном месте что-то светилось ровным гнилушечным светом.

Но, убегая ночью на поезд, напрасно отпускник полагал, что антиобщественный цех при свечах варит собачье сало и ночью. Просто в сарае лежали котлеты. Частник Яня взял их с помойки столовой. Котлеты были такие несвежие, что даже светились в ночной темноте.

Шел десятый год прецедента.



СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТРАВМАТИЗМА

Начнем с показа жизни в пропорции один к одному.

Слесарь металлургического завода Владимир Лычканов возвращался домой, в общежитие.

Был вечер, а работал он в ночь.

В преддверии смены, как ни странно это и порочно, слесарь не обдумывал конструкции облегченного гайковерта, а как раз витал мыслями в непроизводительной сфере. Спиши он потом все случившееся на задумчивость по поводу гайковерта, возможно, участь его была бы полегче.

Выйдя к дороге, он увидел за поворотом всплески света автомобильных фар, увидел автобус, пропустил его и шагнул на мостовую. Потом его нашла в кювете проходившая мимо женщина.

Ослепленный светом автобусных фар, слесарь не увидел шедшей сбоку машины.

Машину впоследствии не разыскали.

Его доставили в больницу строителей на «Скорой помощи». Слесарь на ногах не стоял. И кто-то из медсестер, изнуренных дежурством на полторы ставки и криками: «Утку!», сказал:

— Пьянь сопливая!

Но он не был пьян, и пресловутое пьяное счастье не коснулось его: у слесаря Лычканова были разорваны связки правой стопы и сломаны клиновидная и пяточная кости. Потому он и не стоял на ногах.

Его выписали через две недели, в гипсе, неоперированного, для прохождения курса лечения в больнице родного завода.

Выписали по-скотски: не дав костылей, не дав «Скорой помощи», чтобы добраться до общежития, не вызвав даже такси.

Его увел домой парень-послеаппендицитник. Стоит поразмыслить, сколько и как добирались до общежития эти двое ребят.

А затем он проходил курс лечения в больнице родного завода. Одновременно он стал выправлять бюллетень, ибо возникала нужда как-то кормиться, ибо помогать ему было некому, ибо с детства он был сиротой.

И тут оказалось, что без экспертизы, без всяких там приборов и актов он в ту ночь признан пьяным. Понюхала одна сестра, и ей показало. Курносый, античный, картошкой, гулей и прочим носам медсестер в больнице строителей было колоссальное доверие — абсолю.

Скорописью, фиолетовым чернильцем ему вписали в голубой листок бюллетеня: «Травма в состоянии опьянения». То есть все на том самом уровне достоверности, когда немой говорил, как глухой слышал, что слепой видел, как хромой бежал.

И всего этого хватило заводу, чтобы наотрез отказаться оплачивать бюллетень.

А надо было покупать еду и надо было лечиться. Несколько месяцев в дни получек рабочие собирали Лычканову доброхотные средства. Они же собрали ему деньги на проезд в Ленинград — оперироваться. (Ни завод-гигант, ни горздрав никаких денег не дали.)

Его оперировали удачно, снабдили костылями и привезли на машине к поезду:

— Через месяц приедешь снова. Кости придут в норму — возьмемся за связки.

И он снова прибыл в Мартеновск. Тут его навестил представитель администрации цеха, борющегося за звание цеха коммунистического труда, вожак молодежи, комсорг.

— Дай-ка билет твой, — сказал вожак. — Погляжу на него.

Через неделю вожак снова зашел. Так, проходил мимо да и вспомнил. Обхватил турниковую спинку кровати руками, опробовал, потряс и сказал голосом ученого скворушки:

— Лычканов? Помню, помню. Отчистили мы тебя, старик.

— Как отчистили? — спросил он.

— А из комсомола отчистили. За тобою, гляди, неуплаты.

Так из-за одной безответственной записи («у нас медсестры сплошь пьяного чуют, у них на это дело нос собакой натерт») жестоко, несправедливо пострадал человек.

Завод, на котором он проработал пять лет, не заплатил ему ни добром, ни деньгами, завод с первой неявкой на смену забыл о нем. Администрация цеха отшила рабочих, пришедших хлопотать за Лычканова, а комсомольский секретарь заочно выбросил человека из комсомола.

Оставался профсоюз, в котором слесарь состоял одиннадцать лет и исправно платил.

— Лычканов...— задумался предзавкома.— О Лычканове известно нам что-нибудь?

— Известно, известно! — счастливыми голосами закричали люди из цехкома прокатного цеха.— Еще как известно! Помнится, украл он что-то три не то пять лет назад! Вот мы завтра еще копнем документы, что он за птица!

— Вот видите, товарищ,— сказал мне с укоризной председатель завкома. И из этого следовало, что какая тут к черту помощь, посещение больного профсоюзными активистами, когда он вон что: украл три года назад!

Так что после данного чрезвычайного довода было просто бесовственно обвинять профсоюз в задеденелом свинстве. И опять же стальной предзавкома раскрыл мне бездны статьи 54 «Положения о порядке назначения и выплаты пособий»:

— Говорите, он сирота? Сирота — это значит, что одинокий. Про одиноких тут сказано так: если пострадал по нетрезвости, бюллетень не платить. А семейным платить по истечении декады. Конечно, есть тут, в статье, недодумка. Лишить помощи, так с чего одинокому человеку жить? Но она все же статья, надлежит руководствоваться.

Тем не менее на многие явления не было статей, а явления были. Вообще вокруг синего листка бюллетеня шла большая возня.

— Тогда скажите,— спросил я предзавкома Стучевского.— На заводе у вас тридцать тысяч рабочих. Известно в завкоме, что многие мастера вынуждают рабочих утаивать травмы, полученные на производстве? Не велят брать бюллетени. Или требуют от рабочего оформить производственную травму как бытовую, чтобы не иметь неприятностей?

— Нет,— сказал предзавкома,— о таких случаях нет, не известно.

— Но их много на других предприятиях города. Из-за скрытия травм люди запускают болезни, ушиб, порез, заражение, ожог развиваются в тяжелый недуг, иногда в инвалидность. Завком занимается этим вопросом?

— Другие предприятия — это другие предприятия,— заверил меня предзавкома.— На нашем заводе нет места такому.

После этого оставалось уйти. И зайти к главному инженеру. Который (может быть, ввиду громадной занятости, замученности делегациями, международными контактами и действительно громадным объемом работ) вдруг сказал правду:

— Есть скрытие травм, хоть отбавляй. На днях собрал тысячу мастеров, больше зал не вмещает. Говорю: будем строго карать. Мастера Квятко из мастеров только что сместили за это.

Здесь хочется просить права на отступление. Дать пищу теоретикам фельетонного жанра и ввести светлый образ. Первым и единственным человеком из заводской администрации, возмущившимся отношением к слесарю, записавшим его фамилию в гербовом кален-

даре, был главный инженер Банщиков. И было яснее ясного, что он уйдет время международных контактов, урвет еще где-то минуты и разберется, поможет.

В остальном, чтобы не загружать главного инженера, начнем разбираться мы сами.

Да, со страшным скрипом и писком оплачиваются на предприятиях у нас бюллетени. Есть странная статья 54: если без оправдания травмировался одинокий, лишать его всяких пособий. Если нет подходящей статьи, работницу склада мартеновского завода, мать троих детей Елену Кульбакину могут лишить оплаты по бюллетеню просто так. Сэкономили. Как это там — рачительные хозяева?

А что же произошло в рачительном хозяйстве добродушно толстого начсклада Чурбы?

При распаковке ящика с оборудованием отлетел стальной уголок, ударил по голове Елену Кульбакину. После долгих фокусов с актами о несчастном случае возникла версия: нет, не уголок ее ударил. Возьмите ластик, подчистите графу производственных травм. Муж ее ударил! Бытовая у нее травма! И вообще не так уж ее ударило. Выплакивает бюллетень. Симулеж!

Лишь через два месяца подозрений, подтасовок и мытарств Елене Кульбакиной оплатили больничный лист.

Признаем: правда, в великой стране есть еще симулянты. В самолете над далекой Чукоткой пилот Боря Сабуров показывал рукой вниз:

— Сегодня равнина, — кричал он. — А вчера были горы. Симулянты меняют рельеф страны. Горы — руками!

Вот абзац горькой правды. Зимой, в период пург, предприятия Магадана уже лихорадит. Инженер, видный рабочий, филармонический гений — можно ждать от кого угодно! — вдруг выходит на середину, склоняет голову и, впившись в волосы, тянет их книзу, к ушам.

— Лысина! — говорит он, обводя всех слезящимся взором. — Съел меня Север.

— Да будет, Виктор! — утешают его. — Где ж у вас лысина?

— А вот есть, — тихим, хриплым голосом говорит пионер освоения окраин. — И ногти ломаются. Кальций из кости уходит. Семь лет на Севере! Нет, в Ялту, в Ялту! Доживать свои дни.

— Виктор! — говорят ему. — Вы знаете, у нас трудно с кадрами. Доживите еще год своих дней на должности. Мы пока подберем человека.

Но у него уже справки. В них написано о стенокардии, попугайной болезни, агорафобии, лейшманиозе, отсутствии внутричерепного давления.

Задерживать такого человека жестоко. С первым теплом он увольняется,

Однако зря магаданские отпускники будут выпрашивать о нем в Симферополе, Мариуполе и Керчи. Он не в Керчи. Он в старательской бригаде. Где золото роют в горах. Там почечник, предынфарктник, внутричерепник с жуткой скоростью лопатит породу и в пыль истирает базальт. Летний сезон-то короток, а металл крупитчат.

А к зиме симулянт вернется в родной Магадан. Там кадров по-прежнему мало. Там примут.

Да, в великой стране все еще есть симулянты.

Но отделяйте овнов от козлиц, пшеницу от плевел. Больным человеком быть очень невесело. Мы крайне хотим быть государством веселых, здоровых людей. Мы много для этого делаем. В то же время у нас есть подвид лиц, мешающих людям лечиться и выздоравливать.

— Смотрите,— сказал главный инженер Банщикова.— Вот вам вся механика скрывания травм: производственный травматизм — основной показатель при подведении итогов соцсоревнования. Нет травматизма — профсоюз выделяет премию. Это большие премии. Из-за них то и скрывают травмы. Против этого профсоюз должен выдвинуть что-то, придумать, изменить положение.

...Я приходил еще раз в большой кабинет предзавкома Стучевского. Там как раз выдвигали, придумывали. Был оттепельный, неяркий день, и дворники, обвязавшись веревками, роняли сосульки с крыш.

— Конференция облсовпрофа,— сказал товарищ Стучевский, обратив ко мне правое ухо, деформированное долгими телефонными разговорами.— Вот советуюсь, с чем выступить, какие вопросы поднять. Это в зубах, в зубах навязло! — снова заговорил он с цехами.— Рационализация, изобретательство, профилакторий, торфолечение... Об этом все говорить будут! А надо с другим чем-то выступить, предложить, чтоб за сердце брало! Звони, жду.

* * *

Он уехал на облсовпроф, оснащенный тезисами в пользу рационализации, изобретательства, торфолечения. Никто не позвонил ему, чтобы он заострил вопрос о статье 54 «Положения о порядке назначения и выплаты пособий». Никто — что за люди! — не советовал доложить, что на предприятии из всех сил скрывают травмы для победы в соревновании.



ПСИХОЛОГИЗМЫ

К полудню сила ветра тянула уже на крупную заметку в газете. Пыль достигала неба. Видимость узилась. В смерчах закручивало щепки, лотерейные билеты, тополевую вату и мелких домашних животных.

Хаильское лето скрипело на зубах.

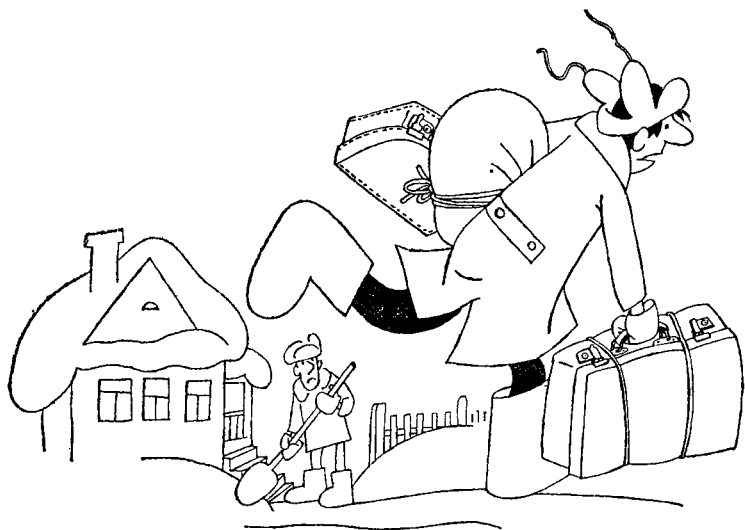
И было даже странно, как рабочие угольного разреза в этих условиях каждый день находят разрез, не плутают, опаздывая на смены.

Итак, Хаил. Чрезвычайно богатые недра. Лучший в стране угольный разрез. Крупный железнодорожный узел на Транссибирском пути.

Районная Хаильская администрация что есть силы решала прорыв хозяйственных и аграрных задач. Были также задачи психологического толка и свойства (если уж глубже копнуть, то все упирается в психологию и из нее вытекает), но психологией как-то не занимались. Может, область дала промашку, не ссудила, зажилила специалистов, а может, и в области нету — не готовит министерство высшего образования.

Так что психология оставалась открытой. И возникали, как говорят, этюды. Диалоги и монологи.

— В Хаиле-то квелая жизнь. Деньги заработать могу, а приложить их куда? Дом затевал строить. Пошел. Говорю: мне бы участок, при речке. Говорят: при речке нельзя, залегание голубых глин, сырье для фарфора. Может, разработка начнется, а там дом стоит... Ладно. Прошу другое место отрезать. И тож не дают. Там, мол, кварцитовые пески, сырье для стекла. Ну, согласен, не без понятия. А где ж есть земля под близкий участок? Мы Япония, что ли? Нету участка. Там уголь пластуется, там молибдены, там черт лежит под землей, там дьявол. Прочие города, друг, растут от богатства, а у нас недра камнем на шее. Уеду.



— Вам легче. Бросил в чемодан несессер, аккредитив в подкладку зашил — и айда. А у меня дом, в отшибном месте строение. Кто его купит? Пошел к исполкому, там на заборе объявления клеят — так уж некуда клеить! Сплошь отшибники дома продают. Стал читать: один только про корову доводит до сведения, «спрашивать по нечетным числам». Морально я не летун, а как жить? Нужна перспектива, у меня дети. Покажите мне перспективу в Хаиле. Вот так-то!

Очевидная и все же не регистрированная никем грустность портила лица хаильцев. Настроение прыгало вниз по лестнице через три ступеньки.

Хотя что такое настроение? Единица смутная, внеучетная. По части же категорий учетных был полный ажур. Заверяли, что Хаильский угольный разрез будет лучшим в стране. Вот стал таковым. Помыслите себе этот труд: надо в условиях вечной мерзлоты взорвать верхние толщи породы. Надо бульдозерами расчистить пласт угля. Надо доставить в разрез экскаваторы, притянуть в самый низ ветку железной дороги.

А бульдозеры вязнут в расхлябанной мерзлоте. Экскаватор валится с ледяной макушки бугра. Угольный пласт вдруг рвется и ис-

чезает. А когда до него добираются, отцарапав миллионы кубометров породы, порода вдруг ползет из отвалов и хоронит под собой железнодорожную ветку.

Но вот же шахтеры — все одолели! Скажем им просто: поклон и ура.

Какие потом были приятности?

Коллегия министерства угольщиков отдала шахтерам свое самое главное знамя. Знамя и премию в три тысячи семьсот рублей.

Без проволоочек знамя вручили. В первом ряду сидело начальство из «Главсибугля». Перед ним хотелось блеснуть.

Тет-а-тет начальник разреза Кредо сказал своему сотруднику Гуцу:

— Суммы предавать гласности будешь ты, Гуц. Зачтешь, кому по двадцать рублей, а мельче суммы уже не указывай, читай только фамилии.

То есть: пусть начальство из области думает, что мельче двадцати рублей премий нет. Пусть оценит и умилился. (Представляете, не приехал нитто из Москвы! Представляете, какие суммы зачли бы тогда?)

Гуц огласил. Зал аплодировал. В столовой накрыли столы. Было празднично. Был полночный мужской ажикотаж с потреблением закусок и водок.

И наряду с начальством из «Главсибугля» шахтеры также поверили, что им причитаются премии по двадцать рублей.

Но из окошечка кассы на другой день, когда топливные столпы попрощались, людям стали высовывать пятирублевки и вразумили:

— Это, Сидоров, было только зачитано так — по двадцатке. Для торжества момента. Знамя, понимаешь, вручают, вот и зачли. А объективно — пятерка.

— Да, — сказал Сидоров. — Сволочное, я вижу, дельце. Ладно б так, не касаясь к знамени. Обжуленным герой угледобычи может быть, а оплеванному — ему не подходит! Мне как теперь себя уважать?

И вне зависимости от того, кто получил двадцать рублей, а кто пять, все шахтеры скрежетнули зубами. А почему?

У людей есть понятие: касса, бюджет. Они восполнимы. Похищенная кем-то пятерка не пробьет тут вечную брешь.

Но есть другое понятие: моральный бюджет человека. Нравственная касса личности. Душевный баланс индивидуума. Эти бюджет, касса, баланс открыты лишь для вложений. Каждый в меру своей чуткости и человечности волен делать вложения. Но изымать отсюда нельзя ничего. Это больно. Больно надолго, каким бы малым изъятое ни было. И его ничем не восполнить.

Хотя директор разреза Кредо и не думал ничего восполнять по линии рабочих моральных бюджетов. Пренебрег фактом ввиду оче-

видной малости. Другое дело — простой вагонов. Это проблема. Производство, оно держится не психологией. Технологией!

Пусть где-то возьмется с этими мелочами по созданию настроений веселости и доверия. У бразильцев действует психолог при сборной команде, именно — Гослинг. Вместо взбучки перед игрой всех усадит в кружок, полоют развязные песенки, игровой тонус подымут да с тем и задерут под сухие 3:0 всесоюзную сборную. Актеры то же самое, на настроениях все, сегодня вытанцовывается, завтра, видишь ли, не вытанцовывается. Дисциплиной, надо быть, не прижаты, распускают капризы.

А какие настроения, скажем, на шахте, в заводе?

Не место тут настроениям. Мало ли, что на многих заводах уже узаконена должность психолога. Вывих это. Метания. Grimасы прогресса. Проще надо, любезные, проще. Коли ты рабочий, бери инструмент, исполняй свою функцию! Без штучек и мучек. И нечего рассусоливать: настроения города, производства, коллектива, психологический кризис... Гиль. Чепуха! Кризы побоку, а гони свою функцию!

И функционер Иван Кредо мне сказал напрямки:

— Ну, не так зачли приказ, ну и что?

— Так ведь накопление обид у людей в организме. Будет хуже отложения солей. И на показателях скажется.

— Обиделись — хуже работать станут?

— Хуже.

— Пустое, — воткнув в рот папиросу, сказал директор соседнего угольного разреза Лисица. — Настроения, обиды, подумаешь! Надо углем питать державу, а не мудрить.

Такое было евангелие от Глеба Лисицы: коль ты рабочий и идешь на смену, психологию свою оставляй дома, а бери одну анатомию.

И два директора, покончив со мной, сели разгрызть вопрос, в какой день отселять семьи шахтеров из домов, переданных железной дороге. Сошлись в дате: первые дни июня. Без штучек и мучек.

Возможно, теперь, когда автор сидит над текстом, директоров Лисицу и Кредо уже костерят жены шахтеров. Ибо директора знали, еще зимой знали о намеченном переселении, но как-то забыли озаботиться, оповестить людей. Технология, экономика, то да се...

А люди, не ведая ни о чем, вбили прорву труда в огороды. И вдруг труд их пропал.

Теперь позволите без привязки к месту огласить один факт. Назовем только край — Хабаровский.

С севера края поступило письмо (скверные люди живут вплоть до полюса). Извещали: по документам гражданину Н. исполнилось 56 лет. Но руководство тамошней шахты, опережая время, закатило банкет в честь шестидесятилетия Н. Липовому юбилею отвалили

подарки, прорву подарков, разве что не было белого слона с балдахином.

Просили вклиниться в эту историю.

И оказалось: да. Человеку точно 56 лет. Да, преждевременно справляли юбилей-круглячок. Да, вскладчину подносили «тяжелые» северные подарки.

Но директор шахты сделал маленькое разъяснение фельетонисту. Обрисовал жизнь юбиляра:

— У него силикоз, чтоб вы знали. С малых лет пошел в шахту, ушел тем же шахтером. Заслуженный, нам дорогой человек, а хватит ему здоровья до правильного юбилея, кто знает. Мы и спешили порадовать его раньше срока, по своим достаткам и совести. Покуда живет!

Там живет и шахта. Старый недровик, что выявил небогатое месторождение полвека назад (я говорил с ним в Москве), страшно разволновался и зачем-то открыл все форточки.

— Удивлен! — кричал он, не попадая ногой в шлепанец. — Я дилетант? Идиот? Мною считано, сколько там золота — до половины столетия. Потом сползание, силами всего прииска не снабдить и одного зубного врача. Откуда они достают металл? У них есть алхимики по штатному расписанию?

Я сказал, что алхимиков нету. Просто люди достают с любой глубины и те крохи, за которыми другой пренебрег бы нагнуться. Прииск рентабелен, потому что люди любят свой прииск, дорожат своими соседями, этим местом в тайге, которое давно уже стало для них тем, чему название — родина. На одной технологии и геологии это не вытянуть.

— Как представителю классической геологии, — важно сказал недровик и попал ногой в шлепанец, — мне это дико. Золота не должно быть, а оно все-таки есть, каково? Или, вы скажете, золото извлекается не из песков, а из людей?

Я сказал: да. В счастливых случаях — да.



И СНОВА АХНУЛА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ*

После центрального события теперь минул год.

Многое изменилось за год. Общественность, смутно возмущавшаяся подполковником Кацавеем, стал возмущаться еще более смутно.

Сам Кацавей, вначале затаившийся и смиренный, потихоньку выпростал шею из покатых плеч и стал возмущаться общественностью:

— Шепчут они на меня, моим достаткам завидуют! У кого дом полная чаша, на того и зло свое вешают.

И вот это было уже удивительно. Почему именно на Кацавея вешают зло? Были ведь здесь и куда более зажиточные люди, чем этот начальник милиции. В пореформенный год к обменному пункту пастухи приносили деньги в мешках, и никто на них не шептал.

Пришлось сказать:

— Не из-за пара над вашей кастрюлькой на вас злятся люди. Злятся за ТО.

— А про ТО помнить некому. Чего про ТО помнить? Делов-то! Но помнили как раз ТО.

И потому, что даже год спустя содеянное кажется подполковнику нормальным, не диким, а общественность мямлит о ТОМ с ленивым негодованием,— стоит припомнить, что было тут год назад и каким наказанием отлилось преступление.

Событие случилось в селе Овсюги. Отчасти совестно называть такие просвещенные места селами. Здесь был аэропорт, «Гастроном», универмаг, свое местное радио, восемь тысяч жителей (престольный праздник яблочный спас не отмечают, кулачных бров стенка на стенку не устраивают).

* И. Ильф, Е. Петров.

Овсяги скорее походили на город, и под колоннадой Дворца культуры одинаково вили гнезда деревенская ласточка-касатка и городской ласточка-воронок.

Была в Овсягах своя культурная жизнь, предприятия, газета на четырех страницах, и тут случилось событие, возмущившее бы и глушайший хутор, тогда как культурное, передовое село обошлось лишь невинным бурчанием.

В Овсягах были школы. Среди школьников, как везде, не блистала густая россыпь отличников. Дети лазили по частным и колхозным садам, неопасно играли, и по субботам все сельские матери совершали одну процедуру: придвигали обеденный стол к стене, чтобы после просмотра дневника облегчить себе поимку учащегося.

И вот так в один из вечеров учащийся Палатов на родительском мотоцикле завернул к своему другу Горелову.

В восемнадцать часов, завершив катание, школьники остановили мотоцикл возле колхозной бахчи. Восьмиклассник Горелов срезал ножом два арбуза.

В восемнадцать десять ребят догнали на своем мотоцикле сын охранника бахчи Иван Яровенко — в прошлом милиционер, затем кладовщик «Сельхозтехники».

Иван Яровенко сорвал колпак зажигания на мотоцикле ребят и уехал.

В восемнадцать двадцать кладовщик возвратился на машине начальника районной милиции Г. С. Кацавея.

— А за такие дела, — сказал стокилограммовый начальник, вылезши из машины, — надо всыпать вот сюда!

И бревенчатой своей рукой сделал всыпание, убив палец о ножик, лежащий в заднем кармане гореловских брюк.

Больше слов не было. Рукой в именных часах, подаренных командованием за безупречную службу, подполковник ударил мальчика по шее, затем кулаком в живот, затем — уже лежащего — носком сапога по ноге.

Иван Яровенко стоял рядом и не препятствовал, чистил в ухе.

— Тот день я собачку папе на бахчу привозил, — через два месяца толковал запоздалому следствию Иван Яровенко. — Скучал папа за собачкой, я и привез.

И долго еще тер вольнику про песика друг животных и внимательный сын Иван Яровенко.

Оставим собачку. Что было с подростками?

— Связать! — распорядился начмил.

И Иван Яровенко со вкусом, с высокой степенью надежности связал веревкой Горелова. Связал, запихал в машину, следом втолкнул Палатова.

— Фамилия? — уже в милиции приступил к дознанию Кацавей. Горелов назвал чужую фамилию.

— Нету таких в Овсюгах,— задумчиво сказал Кацавей, и в руках у него очутилась резиновая палка.

Через два месяца, неуклюже завираясь, Кацавей говорил, что ударил два раза.

Сейчас, через год, он говорит о пяти разгах.

Итак, пять (или десять, или сколько их там было) ударов. Затем Кацавей позвал:

— Велигурин!

Из дежурной явился рядовой милиционер Велигурин.

— В камеру! — показал на Горелова Кацавей.

Сейчас, спокойный, даже бросивший курить насовсем, он говорит:

— Пять раз я бил, больше не бил. А что врач пишет, это, я думаю, после меня Велигурин работал.

Не будем пересказывать, что пишет районный доктор Таранов, осмотревший подростка. В заключении идет речь о сетке пересекающихся рубцов.

К полуночи Горелова и Палатова вывели в милицейский двор и остригли наголо чудовищной милицейской машинкой, визжащей и кусающей, как зашибленная дворняжка. Затем приказали: катись по домам, утром явиться с родителями. Опоздаете — обеспечим явку с овчаркой.

Утром явился один Палатов: к Горелову поехала «Скорая помощь». И пока врач на одном конце села выписывал рецепты, в центре села выписывали квитанции: по десять рублей с каждого за мелкое хулиганство.

А теперь проследим путь матери Толи Горелова.

Она пошла с жалобой в Овсюгинский райком.

Райком не помог.

Жалоба в женсовет.

Общественность сочувственно покряхтела — и все.

Жалоба в райисполком.

Нет ответа.

Она пошла к соседу-фотографу: сними без рубашки моего сына, я pošлю снимки в область. Мужчина-фотограф сказал на это:

— Я ландшафты снимаю. Нету у меня оптики людей снимать.

Она пошла к другому мужчине, шоферу. Он слышал, как били ее сына, он содержался в тот день в КПЗ под стражей.

— Ай, Лена, ослобони! — заюлил и задергался мужчина-шофер.— Моя специальность дорожная, другой нету. На милицию мне как можно задраться?

Она написала в обком.

Обком не ответил.

Сейчас, год спустя, мы стоим во дворе ее усадьбы, и она говорит:

— Местность наша степная, каждому человеку правда видна. Каждый видит, а помочь не идет. Один оказался хороший человек — главный врач. Дал справку точную, какие побои были, слов своих назад не берет, говорит — по факту. Сына вылечил. А сверх того какая в нем сила, во враче? Он не властный.

И Елена Горелова написала в Москву.

Москва, отметим, сработала. Сразу связалась с периферией. Периферия — куда уж не денешься — сразу затребовала справку о побоях, свидетелей. Периферия постановила: подполковника Кацавея, рядового Велигурина из органов охраны общественного порядка уволить. Штраф, наложенный на подростков Горелова и Палатова, отменить как необоснованный. Но, учитывая вкрапления отдельных заслуг в большой стаж Кацавея, уголовного дела не заводить.

И в степи, где всякому правда видна, люди ахнули: это вот и все наказание? Только-то!

И никто из жителей не остался доволен таким наказанием. В селе Овсюги по сей день ахает женсовет, фотограф-ландшафтник, мужчина-шофер, вся общественность, интеллигенция.

Но ахают аккуратно, через плетень, да и то больше так, к слову:

— Растелилась коровка-то ваша?

— Куда как, телушку принесла.

— Уж каб не сглазить, не сглазить. Вот наша худоба — так бычками все сыплет, одно наказание. Кацавею такое хотя б.

— Ему и такого не будет.

— Местной силой его не укусишь.

— Уж где укусить!

И, не осознавая себя как силу, общественность, вздыхая, расходитя.

КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ

Есть люди большой, дерзновенной мечты. Проживая в далеком селе Томпуды и освоив до тонкостей кражу комбикормов, такой человек окрыляется.

«Ловок я! — горделиво думает он, не пойманный даже по пятому разу. — Сам черт мне не брат!»

И тут же гордыня начинает распирать человека. Ничтожным представляется ему родное село Томпуды и возможности обогащения тут.

«Двигать надо, — думает человек. — Чесать. В райцентре иметь проживание. А может, при моей сноровке, — в облцентре. Масштаб!»

Тут человек пакует имущество и карабкается в крупные населенные пункты. Крылья мечты застилают ему глазницы рассудка. Это мотылек, летящий в огонь.

Но есть трезвые граждане, реалисты, не фантазеры. Трезвый гражданин, оценив нынешнюю перспективу крупного города и населенность его детективами в штатском, пакует скарб и едет в глубинку.

— Что город? — говорит он. — Контроль на контроле. Горизонтов нет. Не то что полететь — вспорхнуть ужасаешься. Кто куда, а я в глубинку! Закон, мера пресечения — они вроде всюду одни, а вот не одни! В городе тебе строго отмеряют, аптекарским весом, а в глубинке и безмена на меня не найдешь.

Опять же расчет — правосудию труднее добраться в глубинку. Также — люди там мягкие, все больше изустники. На бумаге не жалуются, слух только пускают. А известно: не любой слух одолеет дикий километраж до облцентра. Пока дойдет, по существу, уже и не жалоба будет, а очень покорная просьба. И будешь ты в таких условиях сыт, незыблем и тороват. Вечность растворится тебе, и ты уже как бы над грозами и бедой, не человек — купина неопалимая!

Ну, и сбывалось, сбывалось. Текли долгие нетревожные годы на глубинном снабсбытовском поприще. Как полагается: даль синее,

ползут по тракту сельские грузовики с прогнутыми от частых кулачных стучаний крышами кабин, двор пахнет коровой и сливочной благодатью, и горит над сельмагом фонарь, убеждая, что и в этой далекой местности наряду с электричеством положительныхны воры.

Так обратим внимание: Заиртышье. В Заиртышье село Кабаны, Хорский район. Интенсивное животноводство. Предгорья. Самогоноварение. Совхоз. Рабкооп и во главе Алфред Кофф.

Нет, не стремился расти, идти в гору по службе земной житель Алфред. Ни за что не пошел бы он на выдвижение в город. Ибо здесь и была укромность глубинки со всеми приметам: и мотоциклисты ездят без номерных знаков, и молокане с субботниками живут в раздолжном сектантстве.

Магнитным мужиком звали Алфреда-рабкоопа селяне. Ибо металлы, а равно и диэлектрики сразу липли к его точным рукам. Товаропроводящие чудеса идеально делал Алфред, так что вместо мотоцикла в рабкооп мог поступить просто оплаченный уже где-то счет.

И жаловались молокане, субботники, сами очень пристрастные к мотоциклетной гоньбе. Но изустно жаловались, как всегда, в виде слуха. Так что слух, на манер излетной пули, не ранил сознания районных властей. Опять же: власти приедут на чем? Милиция бедная, нету машины.

Так жил Алфред и отправлял службу. Неопалимый, непотопляемый. И сказал своему кассиру:

— А возьми в Хорской сберкассе лотерейных билетов, распростири магазинам. Тюкписковой, Местрековой, Букатовой дай. Пусть продают.

Частично продали, частично осталось. 217 билетов. А тут не Москва — глубинка. И зачем соблюдать финансово-отчетные строгости? Зачем журнально-ордерный учет,konto-корренто, бухгалтерия итальянская двойная и пр.? Зачем машину гонять, собирать непроданные билеты и сдавать спешно в банк за день до тиража? Не надо. А со-



брать их и положить в сейф. Выйдет тираж — сверить. Выигрышами и погасится недостача, а может, далеко превзойдется. Для Москвы, Красноярска — незаконное дело. А тут край предгорный, проворачивали уже — и сходило.

И, конечно, дождались таблицы. Разложили билетный пасьянс, и кассир Урченко закричала в испуге:

— Здесь «Москвич-408»!

— Тысячу! — ударившись в пот, погасил крик Алфред. Билет сам собой прыгнул в его магнитную руку. — Тысячу тебе, легковушку мне.

— Кукиш! — подвергнув себя алкоголю, худой, в свисающих штанах, закричал отец кассирши Василий Урченко. — Ты мне режь половину, тогда я скажу: справедливость существует не в одной только сказке, но также на факте!

— Так? — сказал Алфред-рабкооп. — Ты так? Вот же тогда: не дам ничего.

— Так? — напрягся Василий. — Тогда бумагу на тебя составим, вытягнем свою долю.

И случилось событие. Традиция изустного возмущения, такая крепкая по сей день на селе, привычка решать все миром, сходом на лавочке, а не буквой закона, была нарушена. В инстанции законвертованная, при марке и штемпеле отправилась жалоба. Человек восстал. Положил начало. Хоть из разбойных «принципов», хоть неизвестно, на что надеялся, но положил!

Неопалимый не испугался. «Далеко, — думал он. — Не приедут».

Однако приехали, много народу в чинах. Растолковали: закон один для хуторов и столиц. Отдельных сельских законов нету. Билет неправомочный, надлежит сдать.

— Не дам, — истово сказал Алфред. Да как же: вот он — и вдруг отдать? Да на что ж тогда жить так далеко?

— Надо отдать, — повторили ему. — Госсобственность вы присвоили. За это, знаете, что бывает?

— Не дам, — стиснул подсердечный карман Алфред, бледный, с тяжелым стоицизмом в зрачках. — Произвол надо мною наводите!

И ночью, сидя во дворе, где болтался на толстой цепи рыжий якорь большой собаки, овеваемый сливочной благодатью хлебов, думал, обнажив под лунной билет 06725: нету жизни. Кончается жизнь! Ить правильно рассуждал: отсюда сколько километров до Хора? Тьма километров. До Абакана — пропасть. Про Красноярск, про Москву и не мысли — так далеко, будто вовсе их нету. А вот явились! «Госсобственность»! «Присвоение»! Житье теперь где намыслишь? Гляди, и на мотоциклы завтра вывесят номера. Сутяги, крючки. Какую пробят глубинку!

САРАНЧУКИ

В разгар торжества Нового года, когда к потолку летят пробки и за столом забыто все: обиды, скупой на ласку начальник, житейские тяготы, — один человек все же витает мыслью не здесь. Не ушел с головой в торжество. И когда стреляет шампанское, он следит траекторию пробки, а потом подбирает ее и бережно прячет в карман.

— Для Толи есть, для Нади есть, — шепчет он, перешуപ്പывая пробки в кармане. — Для Михалыча есть, себе есть.

Этот человек — турист. В январе он помышляет о лете, когда на воду спустят байдарики. Тогда он широким жестом достанет пробки, пробки разрежут кольцами и наденут на пальцы — предохранить руки от гребных потертостей и мозолей.

Но за столом сидит еще человек, собирающий пробки. Не так, правда, много — четыре штуки. Он тоже мысленно витает в июле, суммирует ошибки прошедшего лета. Да, не взяли всепогодные спички «Медведь». Непростительная ошибка. Это могут себе позволить туристы, они ходят толпой, легко свалить просчет на другого. А тут приходится пенять на себя. Ибо человек, подобравший четыре пробки, строит свой досуг на отшибе от коллектива. Он ходит индивидуальной тропой. С ним только Илларион. Илларион хорошо носит тяжести, вдобавок Иллариона удалось убедить, что он круглый дурак, и поэтому Илларион не болтлив. Напарник Илларион высок и вынослив, с него удобно влезать в окна цокольных этажей.

И человек, подобравший четыре пробки, тыкая вилкой мимо запеченного целиком боровка, напряженно мыслит: водные лыжи! Где достать водные лыжи? Нынче стоят на вооружении у армейских разведчиков, да ведь как к ним примажешься? А на водных бы лыжах... Да еще рюкзак с тридцатью отделениями, Илларион бы поднял. Разве что сшить на заказ...

О, рюкзак! К рюкзаку и турист предъявляет особые требования. Вся разница в том, что турист уйдет из дома, согнувшись под

грузом, а вернется пустой, налегке. Тогда как ходок-одиночка уйдет в маршрут налегке, но придет с тяжелой ношей.

...Конечно, из окон вагона вы замечали: рядом с мощным ж.-д. путепроводом всегда мелькает тропинка.

Так вот, рядом с туристским движением теперь тоже пробита тропа. Люди с тропы и туристского шляха похожи обличьем. Только одни не поют, ходят тихо, другие поют. Одни сумрачно сдержанны, других распирает веселье. Одни провидят все худшее: укомплектованы лейкопластырем, свинцовой примочкой, квасцами для удержания крови из носа,— другие уповают на лучшее и берут с собой лишь анальгин-пятачку.

Кто ж они, люди с обочины туристского шляха?

А вот, товарищи: модерн нас заел. Наш быт заключен в полированные плоскости, машинность, геометризм. Это непереносимая концентрация быта. Она требует разжижения. И выигрышами по худлотерее линогравюр художника Брусиловского положение не спасти. Здесь просится в быт какой-нибудь зрительно теплый предмет. Деформированный, с печатью веков. С кусочком курганной прозелени, плесенкой прошедших эпох.

И сначала кто-то за полтину торговал у лудильщика неизвестный сосуд. Может, пифос, может, психтер, может, кумган. От жены была спрятана паста «Чистоль», и сосуд занял в горнице место.

Затем пришли двое знакомых. Один сразу встал на колени и просил продать пифос-психтер. Он выдвинул цену: восемь рублей. Встретив отказ, он бросился в кресло. Через полчаса он сказал, вконец распаленный: сорок рублей, пояс плетеной кожи, очки со щадящими светофильтрами и через неделю рождающийся щенок скотч-терьер.

Всеми частями тела хозяин изобразил отказ. Гость ушел, проклиная судьбу и решив добавить за скотчем двадцать пачек курева «Кент», гори все огнем!

А хозяина посетил другой визитер. Возможно, он еще не купил комплект стильной мебели, поэтому вел себя странно.

— Спятил? — прямо спросил хозяина визитер. — Зачем это выставил? Пакость какая!

— Это кумган, — гордо сказал хозяин. — Кумган из кургана.

— Это автоба, — сказал визитер. — Автоба из уборной. Сосуд для гигиенических нужд у народов Востока. Поставил бы ты на сервант большую спринцовку? Вот то-то! Если уж хочешь, так в Азербайджане, в Лагиче...

Тут раздается телефонный звонок.

— Да? — говорит хозяин. — Что, «Кент»? Может быть. Черт с тобой, от тебя не отвяжешься! Так что же в Лагиче? — уточняет хозяин, закрепив трубку на месте.

— Меди всякой невпроворот. Не то что это паскудство.

И все.

— Люсик,— проводив гостя, проветрив помещение от его папирос, молвит хозяин.— Ты едешь в отпуск одна.

— Но...— жалобно говорит Люсик, возлагавшая столько надежд.

— Так надо, Люсик. Лагич — это горы, а твое поперечное плоскостопие?

Словом, он едет в Лагич один. Он возвращается через месяц, лягнутый мулом, в стоптанной обуви, но неимоверно довольный. Теперь на серванте стоят бронзовые мисочки-чиликальт, покрытые арабскими письменами, жаровня фигурной ковanej меди, мерджмеиль (блюдо брачного торжества), кясы — медные чаши с гравированными лозунгами из корана.

Знакомые валят валом. Ценой неимоверных унижений и трат чиликальт, мерджмеиль и кясы меняют владельца. Люсик ходит в обмененной на металл синтетической шубе, а хозяин в недоступной мечтаниям ермолке из нерпы. И поэтому Люсик уже не бузит, слыша очередным летом:

— Тпру-пу-пум ему на Запад, ей в другую сторону...

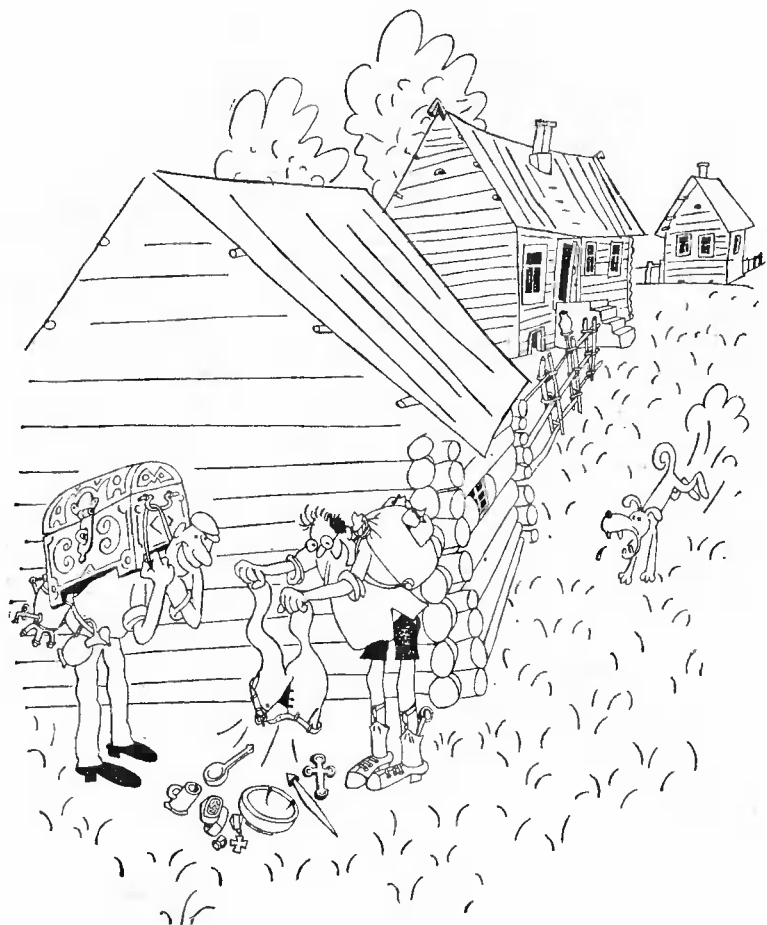
Люсик, наоборот, поощряет.

И он едет, но уж не так, как в былом. Уже с ним Илларион, человек-стрелянка, в кармане артиллерийская карта-трехверстка, водные лыжи армейского пластуна (с трудом, но достал), набор клещей и отверток, быстрорезная пила для съема решетчатых окон и канистрочка крепкого, крепче всякой головы, напитка для нестойких периферийных лиц. Он едет, человек, действующий под личиной туриста, и он уже отчасти опасен. Он типа развившейся саранчи.

Их немного, людей, обирающих исторические закрома страны, но они так активны, что создают видимость большого отряда. Они на равнинах, в лесах, на горах. Они мчатся дограбить село Лагич и попутно установить связи с куба-хачмасским старьевщиком дядей Борей, и дядя Боря, сидя на завалинке из органных труб, всучивает злетьным гражданам орган с автомобильным акселератором вместо педали — свой главный товар. Но они просят меди, как можно больше меди и бранзулетов с печатью эпох, они просят адреса аксакалов, бабаев и других ровесников века.

Они специализируются, и кто-то тащит кораны, кто-то бараньи лопатки с изречениями святых, надмогильные камни-кайраки, орден Святого Гроба Пурпурного. Они вымогают книги, картины, утварь, оружие, знамена Кексгольмского полка, хоругви, бунчуки и скрижали. Старую мебель, одежду, мониста, серьги и ордена.

В мавзолее Чор-бакыр под Бухарой они высаживают и уносят резные воротца кельи пророка. В Самарканде с дворцовой стены крадут кипарисовый щит Улугбека со словами о необходимости равноправия женщин.



В зонах новых морей раздается их сдавленный чих под пыльными стрехами покинутых изб.

В голубой изразцовой Хиве они шныряют вокруг автобазы министерства культуры и, обнажив пятирублевки, подбивают шоферов налущить со стены изразцов.

Они шарят в пещерах бурятской тайги, добывая бронзовых будд (будда в нирване, пляшущий, спящий, с младенчиком на руках).

Спрятав в штаны, они крадут из крестьянских домов резные деревянные блюда «хлеб-соль».

А в непогоду, когда крестьяне сидят по домам, пошивая хомуты и подпруги, Илларион встает у стены придорожной часовни, на плечи ему вспрыгивает шустряк-предводитель и с безумной сноровкой пиляет решетку в окне. Шустряк исчезает внутри, и лишь пятно света из мощного фонаря прыгает по часовне, как желтая большая собака. Визг и скрежет несутся из помещения, потом на дождь выпадает точок, в котором асе: поеденное древоточцем распятие, ветровой колоколец, бронзовые пластины иконок-складней.

А они бегут дальше: шакалить у вдовы трибунальца двадцатых годов именной клинок. Вдова будет слабо сопротивляться, но она уступит, уступит, она даже саблей не смогла бы отбиться от них. И они побегут еще дальше, трамбюя в рюкзак о тридцати отделениях: веретено? Веретено! Прялка? Прялка! Седло с драгунской обивкой? Седло! Поэт какой-нибудь в два счета схватит седло. Гете, тот, бывало, всегда сиживал перед бюваром в седле, стихата кропал. В седле любо-дорого пишется. На седла спрос серьезно растет.

И дальше, дальше бегут саранчуки. Музеи страны начисто прогрызают им поле битвы. Ночами, мерно гребя, поблескивая очочками в свете звезд, псевдотурист углубляется в окраинные районы.

— Гражданин священник? Реставраторы Третьяковки! — представляется саранчук и быстрым движением ловца мух взмахнет под носом священника красной книжечкой, которая вовсе не есть удостоверение Третьяковки, а всего лишь членский билет ДОСААФ с двухгодичной неуплатой взносов. — К вам по вопросу храма.

И доверчивый сельский батюшка отопрет мазурикам храм.

— Так, — скажет один, склоняя большой висячий замок головы. — Иоанн-креститель на блюде, деревянный. Выдайте квитанцию гражданину священнику, товарищ Илларион. Деревянного временно забираем для сличения с медными образцами. И вот эту иконку...

А товарищ Илларион незамедлительно пишет квитанцию на бланке срочной химчистки.

Затем реликты нашей культуры исчезают в подворотнях больших городов, и лишь иногда из-под мышки саранчука на прохожего страстно, с мольбой глянет тонкий лик чудотворца.

Теперь уж зима, июльская грабилька страны отошла. И пока истинный турист восторженно, с придыханием рассказывает сослужив-

цам, что такое Бурятия, саранчук, прибывший оттуда же, из Бурятии, сортирует бронзовых будд: в нирване — 70 рублей, пляшущий — 35, с младенчиком — 100.

И на сходках в узком кругу будут прикидывать стрелы летних маршрутов, и кто-то будет бубнить:

— Меняю, меняю, меняю. Ну, сварим клей? Я вам адресок одного дедушки в Псковской, не потрошенный совсем старичок, а вы мне пару аксакалов в Баку. Не пойдет? Меняю, меняю...

— Продается маршрут, недорого маршрут продается. Три церкви, дьяки согласны «Перцовую».

— Адреса старушек города Венева, кому адреса старушек!
И немного становится страшно.

Вчера я ходил по Кремлю. Царь-колокол покуда на месте,



ПРОШЕЛ ВИСОКОСНЫЙ

Американцев чрезвычайно манит Сибирь.

Набив чемодан штанами на пуху морских птиц, летит в Сибирь отдыхать деловой человек. Наслышанный об «этом русском медведе», он привозит с собой гиббсовскую винтовку, годную скорее всего для подбития легких танков. Сопровожденный егерями к берлогу, вскинув пять раз чудовищную винтовку и окончательно обессилев от этого, счастливый гость валится в снег и ест его прямо так, без участия рук. Представитель ВАО «Интурист», ранее прятавшийся в валежнике, делает снимки.

...Наша «Волга» стояла у дверей «Интуриста». Мы ждали возле, на лавочке, заняв, к неудовольствию иркутских фарцовщиков, их исконное место. Мы старательно делали вид, что наша «Волга» не наша «Волга»: три американочки в голубых панталетах изучали автомобиль. Американочки, ясно, знали толк в автотранспорте, читали на родине нашумевшую книгу сезона «Опасен на любой скорости». Ничего, откровенная книга, перечислена в плане большой тревоги халтурность американских авто. И инженер Казаков, знающий малость язык, сказал технику Кобахидзе:

— Про нашу говорят, мол, не только на скорости, а и в состоянии покоя опасна.

Правда, автомобиль был ужасен. Казалось, все пьяные большегрузники с иркутских дорог выбирали объектом для столкновения исключительно эту «Волгу». Казалось, только самолеты, поезда и линкоры не врезались в нее.

Но мрачного шофера Антона не смущал вид машины. Мрачный шофер Антон сказал американочкам, чтобы мотали отсюда, за валюту что получше можно увидеть. Нам мрачный шофер Антон, обследа глазами качество неба, предложил не валять дурака и немедленно грузиться. И мы вынесли из гостиницы три ящика, у каждого на боку международный знак атомной службы — клеверный красный трилистник в желтом кружке.

За рулем вздрючился Антон, рядом, сразу перекосив конструкцию автомобиля, представитель местной гелиофизики Липин. Сзади устроились, существенно не повлияв на осадку, инженер-атомник Казаков, слесарь-атомник Данилов, атомник-дозиметрист Кобахидзе и корреспондент.

Шофер Антон враскачку тронул с места машину. Американочки ахнули бы, узнав, где расположен конечный пункт большого пробега: за Байкалом, через всю Иркутскую область, через Бурятию, до границы с Монголией, село Монды, река Иркут, гора Хулугайша.

Дорога шла на Байкал. Нас обгоняли грузовики, «пикапы», американцы, престарелые Он и Она, потом мы обогнали их, возместив ущерб в честюбобии, а они остались на околице прибайкальской деревни упрашивать какую-то девочку колоритным ведром зачерпнуть в колоритном колодце.

Мы миновали перевал над Байкалом и вышли на спуск.

— Так вот,— сказал шофер Антон, еще более мрачный от предстоящего восьмидесятикилометрового спуска,— об орлах-то. Точно здесь я ехал в сорок втором, а он и сидит. Долбанул его передком, поглядел — он живой. Посадил его рядом, домой привожу. Он оклемался да и парит себе над помойкой, дежурит. А помойка в сорок втором — с нее где же орлу прокормиться? Глаза у него зажелтели от злости, тощий — на старуху нападение сделал, старуху на харч пустить. Едва я отсудился. Нету в них проку, в орлах-то. Они и жуков жрут, видел сам.

Так, подбодрившись собственным голосом, он одолел спуск и умолк.

К ночи мы добрались до Монд и лишь раз стояли в пути: лопнула крестовина в заднем мосту. Добрые бурятские мальчики близкой деревни принесли из своих заветных запасов все марки проволок, выпускаемых в Советском Союзе, и, выбрав нужную, мы продолжили путь. Дорога была до такой степени сносная, что лишь в предгорьях Саян, перед Мондами, где прежняя дорога свалилась в ущелье к реке, а новая сплошь в красных вымпелах — камнепад, Антон подал голос:

— Да вот, прошлый сезон прикормили двоих в Гидрометслужбе, на катере. А что? Рыбы один обожрался, с борта упал — потонул.

Какое лихо досталось второму орлу, мы не узнали. Дорога поправилась, по бокам встали избы, и была очевидна близость крупного научного центра: сортирчики на задах села прежде, конечно же, все были контейнерами для перевозки астрономического оборудования.

* * *

Монды — село на берегу Иркуты. В синем небе кардиограммой сердца Земли — ломаный контур Саянских гор, и микроинфаркт Земли — отличный от прочих пиков высотой, одиночеством пик Мунку Сардыка. Повредить костяк на Мунку Сардыке — мечта всякого анг-

лийского альпиниста. Спасение Англии состоит лишь в том, что Англия далеко от Мунку Сардыка, а английский альпинист — человек небогатый. В этом смысле была бы тревожна участь Америки, но альпинизм предсмотрительно в Штатах не развит.

В Мондах таможенный пункт «Скотоимпорта», а чуть выше — Часовые сопки, база гелиофизиков. Гелиофизики — самые бледные люди на свете. Едва выглянет солнце, они бегут по своим казематам смотреть на светило в гелиографы и коронографы.

Сердца бурят и русских, населяющих Монды, отданы науке, хотя могли бы принадлежать искусству. Ибо Монды самой природой отведены для съемок натуральных фильмов, и один уж снимался.

— Оо,— говорят еще теперь старики, сворачивая под эти воспоминания папироску потолще.

Оо, надо быть очень крепким селом, чтобы начисто выветрить за год падение нравов, сопутствующее приходу той съемочной группы. Надо быть предельно человеколюбивым, чтобы для тирана Монд режиссера все же собрать верблюжьей колючки, напарить в ведре, и он будет сидеть над паром в спущенных бриджах, жертва алкогольных последствий, одновременно препираясь с героем кино ввиду его нежелания сниматься на лошади.

О, трудные дни пережили Монды, и кино тут не любят, поскольку куски, снятые здесь, просмотревшая комиссия отрезала, в фильм не включила. Науке, только науке принадлежат сердца пограничного населения. Наука меньше и напитки более высокого качества пьет, ввиду науки строится бетонный мост через Иркут, дети возле науки — прекрасно, и разве то киногруппа добила регулярности завоза пива в Монды? Ей бы не по плечу!

Нет, в Мондах не любят прелестницу на час и вертушку Музу. С нею убить вечерок — куда уж ни шло. А жениться надо на доброй, степенной гражданке Науке.

Итак, прибывшие в Монды по научной части инженер Казаков, дозиметрист Кобахидзе и слесарь Данилов должны были пустить здесь атомную теплоэлектростанцию «Ангара», плод годичной работы ВНИИРТа (Всесоюзный научно-исследовательский институт радиационной техники, Москва).

Троим левшам из ВНИИРТа — в прямом смысле левши, в переносном смысле левши — назначались помочь местные силы: гелиофизик Липин и космик, кандидат физико-математических наук Лузов, оба из СибИЗМИРа (Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы, распространения радиоволн, Иркутск).

«Ангару» предстояло монтировать не где-то, а именно на вершине горы Хулугайша. Вторая гора после Мунку Сардыка.

Словом, организационная часть работ была позади, отгремели ученые советы (что устанавливать и где устанавливать), отшумели партийные собрания по итогам ученых советов (кому перед кем из-

виниться за «олуха, простите, царя небесного» и кому за «стоит на бараньей позиции»). Наладился мир, штурмовой порядок. С одной стороны теперь были институты Сибири и Центра, «Ангара», с другой — единица малая, небухгалтерская — космический пришелец нейтрон.

* * *

Великолепен тип ученого — сибирский ученый.

В свое время среди членов Союза писателей был тип писателя — «ташкентский писатель». Ужасно было обидно — получить именование «ташкентский писатель». Такую обиду смывают чернилами, и некоторые — до сих пор. А значило это, что, когда настоящий писатель был разметан войной, когда один крепил фронт, другой — тыл, третий — блокированный Ленинград, четвертый тем временем смотался в Ташкент и там, без взыскательных судей, оформил себя писателем.

Сибирь далеко от Москвы, но сибирский ученый — не «ташкентский писатель». Космик Лузов, ученый с лицом человека, разгружающего вручную вагоны, не выбирал для защиты своей диссертации город поглуже.

— Он в Москве защищался, у Вернова! — подняв палец, сообщают о нем.

Может быть, кандидат наук из земель поужнее утаил бы конфуз, не сказал. А Лузов в рабочем порядке сказал директору СиБИЗМИРа Степанову (на прошлой неделе в Москве избран членом-корреспондентом Академии наук СССР): «Видели, у меня самописец регистрирует всплески излучений из космоса? Ни черта это не всплески, надо было мне раньше додуматься. Это липинский брат Валерка заводит венгерский мотоциклет, вот что пишет прибор у меня!»

Особ и характер травм, получаемых сибирским ученым. Седалищными недугами он не страдает, у него одежда не лоснится с тыла и на локтях от застольного тшания. Одежда Лузова терпит другой урон: как есть разрезается льдом на груди, в первый после ледохода денек пришлось переплывать Ангару. И Степанов вот сидит на Часовых сопках, царапает левой рукой доклад для конгресса гелиофизиков, левой рукой бросает в рот семечки: правую вывихнул, упал на лесной дороге, кистью как раз в замерзший след лошади. И сибирский ученый Липин...

Но сейчас-то Липин здоров. Липин дрался всю жизнь. С голодом — чужим. С фашизмом. С беспризорностью и безотцовщиной (не одного и не двух мальчишек-детдомовцев вырастил он в семье, вывел в люди, растит и теперь). И когда все извел: голод, фашизм, сколько мог — безотцовщину, — растерялся немного, с кем драться. Выбрал слепые силы природы.

В танковом шлеме, с зедром овса стоял посреди кривых горных лиственниц Липин.

— Атомоход не пойдет, Вездеход не пойдет, Теплоход не пойдет, больные они. Жереба Николаич здоровый, а кой прок в одной лошади?

Так говорил Липин на горной промежуточной базе. Сюда кое-как заполз Вездеход, но отсюда до горной вершины еще пять километров того, что, обожествляя возможности лошадей, позволительно назвать конной тропой.

Была ночь. Шел снег. Из всех сил мигая огнями, летел в Монголии самолет. Была ночь и зима, потому что у подножия Хулугайши четыре времени дня — это четыре времени года. Утро — весна, день — лето, вечер — осень, ночью зима, валит снег, молчит, замерзает водопад в ущелье.

Утром всех разбудили глухие удары — ветер сваливал снег на крышу кибитки. Утром небо очистилось. Утром все лошади оказались здоровыми. А здоровый еще и вчера Жереба Николаич, самая главная лошадь, ночью сбежал, предвидя возможность работы.

— Седлать и грузить, — опозоренный своим персональным конем, молвил Липин.

Грузить подошли все. На вьючные горные седла торчком воздвигали полуметровые плиты — пенопласт, оббитый фанерой. Кони храпели, падали, бились, но на узде висел человек, еще один для смирности заматывал лошадиную морду мешком, а четверо строили на вьючном седле дом из щитов.

На вершины высоких гор закат приходит двумя часами поздней, чем в долины. Но даже с вершины ушел закат, когда мы поднялись, каждый втаскивая на поводу свою лошадь, задыхаясь, обмирая на пропасть, растеряв где-то в пути рукавицы, телогрейки и шапки.

Здесь, на вершине, когда-то стояла кибитка. Ветер сорвал ее и унес. Сюда привезли палатку. Липин и рабочий Саша Майоров развернули ее — ветер прямо в руках изорвал палатку на клочья. Тогда Липин завез сюда дом. По щепочке, по листику жести, за десятки восхождений едва обозначенной тропой снежных баранов. Он на лошади Атомоходе поднял на вершину трехсоткилограммовый арбуз — «Ангару», поднял пять тонн свинцовых кирпичей для уловления нейтронов и семьдесят тонн по графе «разное». То есть все для того, чтобы нейтронные счетчики стояли как можно дальше от венгерского мотоцикла. Обгореть эти счетчики, десять лет давать им тепло и энергию должна была «Ангара».

Вообще-то справа лежала Монголия. Целиком виднелся монгольский Байкал — озеро Хубсугул. Но никому не было дела до природных красот. Люди лежали пластом на щитах, и самой обидной казалась версия: если вдруг не отдышишься после этого восхождения и тебя спустят вниз во вьюке, кто-то снимет картуз, отдавая почести альпинисту.

Но человек хорошо задуман. Так что даже все москвичи, ослаб-

ленные курением и пагубными городскими привычками, как-то так поднялись и до двух часов ночи: занесли «Ангару» в избушку. Опустили ее в шахтный колодец. Положили сверху на брусья пять тонн свинца. Положили сотни ящиков с парафином, а между ними нейтронные счетчики. Собрали над «Ангарой» герметизированный короб из привезенных щитов. Затем дозиметрист Кобахидзе при всеобщем молчании замкнул провода от реактора (АЭС работают только в режиме короткого замыкания) и вернул в патрон тридцативаттную лампочку.

В стену избы толкалась ночная метель. Бурят Саша Майоров (он же бригадир в партии Липина, он же водитель вездехода, он же коваль лошадей, он же приборист-наблюдатель, он же за все и про все) сел на ящик. беспокойно подвигался — а будет ли ток? — пронаблюдал зажжение лампочки и спокойно, уже спящий, с ящика рухнул за печку, не забыв выставить руку к огню, на манер бурятских промысловиков у костра: огонь начнет подбираться — рука даст знать.

Безумная радость заоблачных тощих мышей: наши неразвязанные котомки с едой валялись в углу. А над нами горела, нисколько не смущая мышей, тридцативаттная лампочка.

* * *

Два дня отлеживались мы наверху, благо облачность закрыла все, что под нами. На третий день Липин и Саша Майоров увели в поводу лошадей. Москвичи и сибирский ученый Лузов тоскливо топтались на гребне. Это точно: когда в человеческом теле что-нибудь сильно болит, будто весь состоишь из этого места. На Хулугайше мы состояли из ног.

И пятеро совершили безумную акцию, даже английские альпинисты осудили бы их: защитив телогрейками пояснично-крестцовый отдел, москвичи и сибирский ученый без помощи отнявшихся ног ринулись вниз. Их осудили бы: российские альпинисты (валун под снегом, скала, лавина — и какой там оркестр получишь!). Но, возможно, их оправдали бы горные таджики с Памира, съезжающие с гор на снопах созревшей пшеницы, потому что другим путем хлеб на ток не доставить.

Просто чудо, как необдуманные поступки в високосном году сходят с рук людям — все пятеро достигли долины. Пятеро повалились в гостевом доме на койки, впереди был отъезд, дорога с участками «Пронеси, господи!», и снова шофер в разреженном воздухе будет так тянуть кнопку подсоса, что гляди вдруг не вытащи карбюратор в кабину. Будет Москва, привычность, и жены будут ругать за приобретенную на хулугайшинском ветру манеру держать сигарету огнем в кулак. И сослуживцы будут делать попытки битья за несвежий, третьего дня анекдот, а на Хулугайше смело рассказывая всякий, и всякий там ценен.

— Жизнь! — грустно подбил итог инженер Казаков, надолго ушел и вернулся, волоча пишущий агрегат со шрифтом, съеденным, как стариковские зубы, и, дважды бия по каждой клавише, сел отпечатывать акт о введении в строй последнего слова атомной техники.

Он печатал, быстро зверея от каверз машинки, когда дверь вдруг сотряслась, отворилась. На пороге стоял заснеженный человек с кнутом.

— Баран пригнал! — радостно сказал он. — Чего сидите? Праздник будет, морда делай веселый!

Ах, сколько слетов и конференций, обсуждивших всего лишь вопрос об увеличении пузырчатости минеральной воды или плетении циновок из тины, заключается гранд-отельским банкетом за счет учреждения! Как сильно орут:

— Паз-вольте этот бокал...

Не позволять им. И бокал аннулировать, деньги взыскать. Может быть, наkosten даже, но не в печати, надоело в печати, не выгребная же яма истории.

А пастух в дверях сказал так:

— Здешний солнечный ребята делал подарка атомный ребята. Маленький барашка купил весной, мне давал: расти, Бодма. Вот привел барашек. Горный, целебный, травка жизни щипал!

Потом он сидел за столом, а кругом вперемешку атомные, солнечные ребята. На столе были позы — большие пельмени бурят, оремок, куда по рецепту входит все лучшее из барана, жареная кровь и свежий хлеб. Была водочная продукция РСФСР, МНР, ПНР. Было честное веселье людей, сделавших большую работу, и сибирский здоровяк Лузов сказал инженеру Казакову:

— Двинь-ка дальше эту хреновину, с Липиным буду бороться!

Тогда инженер Казаков положил машинку в спальный мешок и туда же стопку чистой для отчета бумаги. И, глядя на толщину этой стопки, можно было сказать, что год прошел, и неплохо для высокоосного.

СОДЕРЖАНИЕ

Из варяг в греки	3
Любовь № 15	8
Вундеркинды	16
Маэстро, точите лопату!	21
Комбинат без вывески	26
Сквозь призму травматизма	32
Психологизмы	37
И снова ахнула общественность	43
Купина неопалимая	47
Саранчуки	50
Прошел високосный	56

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ МОРАЛЕВИЧ

МАЗСТРО, ТОЧИТЕ ЛОПАТУ!

Редактор С. Ш а т р о в.

Техн. редактор А. К о т е л ь н и к о в а.

А 00130. Подписано к печати 11/VI 1969 г.
Формат бумаги 70×108¹/₃₂. Объем 2,80 усл. печ. л.
3,71 учетно-изд. л. Тираж 225 000. Цена 11 коп.
Изд. № 1035. Заказ № 548.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Об аисте и алиментах поведал в сборнике фельетонов Алексей ГОЛУБ. И еще о многом.

«...ВОТ ТАК КЛЮКВА!» — назвал свою книжку фельетонов Виктор ФРОЛОВ, хотя, если смотреть в корень, речь идет не о клюкве, а о странных событиях в жизни иных людей.

Не ждите «МАННЫ С НЕБА», — весело призывает в своем сборнике фельетонов ленинградский сатирик Юрий БОРИН, — а сами разделяйтесь с теми, кто мешает нам жить.

Цена 11 коп.

БИБЛИОТЕКА КРОКОДИЛА

